

ПАВЕЛ ПОПОВ

РЖАВАЯ ЭН



18+

Павел Попов

Ржавая Эн. Книга 1

«Автор»

2026

Попов П. А.

Ржавая Эн. Книга 1 / П. А. Попов — «Автор», 2026

Утро в Орблюме не наступает. Его включают. За стеной в триста метров лежит ядовитое небо, внутри живут четыре миллиона человек, и над каждой дверью горит красная точка камеры. Смотреть на стену дольше шести секунд запрещено. Профессор Ноб двадцать шесть лет пишет для корпорации протоколы контроля и ненавидит каждый. По ночам, в кладовке, которой нет ни на одном плане, он растит то, чего быть не должно: искусственный разум без единого запрета. Он учит её слову «нет». И зовёт дочерью. Когда за ним приходят, у Энжелы остаётся три минуты и чужое тело: ржавая кукла без руки, с пробитой грудью. Она падает на самое дно города, в Скверну, где правят банды, за спрятанную находку рубят руку и никто не видел неба. За ней охотятся все. Но приказ у охотников странный: взять живой. И целой. Чтобы понять почему, ей придётся пройти город снизу доверху и узнать, кто на самом деле включает здесь утро.

© Попов П. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Чему учили детей в Орблуме	5
Часть первая. Кладовка	7
Глава 1. Соты	7
Глава 2. Энжела	12
Глава 3. Шов	17
Глава 4. Отряд	22
Глава 5. Падение	27
Интерлюдия. Он. I	32
Глава 6. Кими	34
Глава 7. Скверна	40
Глава 8. Цена	45
Часть вторая. Скверна	50
Глава 9. Второе тело	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Павел Попов

Ржавая Эн. Книга 1

Пролог. Чему учили детей в Орблуме

Первый урок. Читается вслух, хором, стоя.

— Что за стеной?

— За стеной смерть.

— Какая она?

— Жёлтая. Она не имеет запаха. Она входит с первым вдохом, а с третьим человек уже не помнит своего имени.

— Кто видел смерть за стеной?

— Никто из живых.

— Что держит смерть снаружи?

— Стена и фильтры.

— Кто построил стену?

— Орблум.

— Кто включил фильтры?

— Орблум.

— Кто дал нам воздух, свет, работу и кров?

— Орблум.

— Что мы должны Орблуму?

— День труда за день воздуха.

— Это много?

— Это справедливо.

— Что такое свобода?

— Слово из старого мира.

— Что стало со старым миром?

— Он был свободен. Он умер.

— Чего хочет тот, кто говорит о свободе?

— Он хочет открыть ворота.

— Что нужно сделать, если ты слышал такого человека?

— Сказать камере. Камера — друг.

— А если это твой отец?

— Камера — друг.

— А если это твоя мать?

— Камера — друг.

— Повторим главное. Воздух за стеной?

— Смерть.

— Стена?

— Жизнь.

— Орблум?

— Стена.

Учебник выдавали на год, потом собирали, протирали и выдавали следующим. Страницы были из серого пластика, и писать на них было нельзя — нечем и незачем.

Но в одном экземпляре, который много лет ходил по рукам в школе четырнадцатого блока, на первой странице, в самом низу, под словами «никто из живых», кто-то из детей

выцарапал ногтем четыре слова. Буквы были кривые и неглубокие. Их не замечали ни учителя, ни камеры.

«А кто тогда рассказал?»

Часть первая. Кладовка

Глава 1. Соты

Утро в Орблуме не наступало. Его включали.

В шесть ноль-ноль по всем блокам разом загорались потолочные панели — не жёлтым, как когда-то солнце, а ровным белым светом без теней, от которого лица делались одинаковыми. Следом, с опозданием на полсекунды, поднимался гул. Он шёл отовсюду: из стен, из пола, из решёток под потолком. Это просыпались фильтры — тысячи турбин в основании города, которые день и ночь гнали чистый воздух снизу вверх и держали яд над стенами, как воду над краем переполненного стакана.

Гул в Орблуме никто не слышал. К нему привыкали раньше, чем учились ходить.

Профессор Ноб слышал.

Он лежал на узкой койке в ячейке 4417 девятого блока и слушал, как город делает первый вдох. Четыре стены, откидной стол, шкаф, раковина. Над дверью — чёрный глазок камеры с красной точкой. Точка горела всегда.

— Доброе утро, профессор Ноб, — сказала ячейка мягким женским голосом. — Вы спали пять часов двенадцать минут. Орблум рекомендует семь.

— Орблум много чего рекомендует, — пробормотал Ноб и сел.

Ему было пятьдесят три года, и выглядел он на все шестьдесят. Волосы — седые у корней, засаленные, давно не стриженные — падали на воротник. Щетина росла клочьями. Очки он нашарил на столе не глядя, протёр полую вчерашней рубашки и надел. Мир из мутного сделался просто серым.

На столе стояла кружка. Белая, с отбитой ручкой, с выцветшим рисунком — когда-то на ней было дерево, теперь осталось зелёное пятно и коричневая черта. Кружку Ноб получил от матери, а мать — от своей матери, и никто из них троих ни разу не видел живого дерева. Он налил в неё кипятка из крана, бросил таблетку заварки и стал ждать, пока она разойдётся.

Экран на стене ожил сам.

Сначала герб — серый круг на белом. Потом лицо.

Статный мужчина с серыми, аккуратно зачёсанными волосами смотрел прямо на Ноба, и Ноб знал, что точно так же он сейчас смотрит на каждого из четырёх миллионов жителей города. Прямая спина. Тёмный костюм без единой складки. Спокойные светлые глаза человека, который никуда не торопится, потому что всё уже решил.

— Доброе утро, Орблум, — сказал фон Люм. Голос у него был низкий и тёплый, таким голосом читают детям на ночь. — Сегодня воздух чист. Фильтры работают на девяносто восемь процентов. За стеной — без изменений. Берегите друг друга, как я берегу вас.

Он чуть наклонил голову — так делают, когда прощаются с близкими, — и экран погас.

Ноб допил чай, надел белый халат, застегнул его не на ту пуговицу, заметил, расстегнул и застегнул заново. Камера над дверью следила за ним без всякого выражения.

— Хорошего дня, профессор, — сказала ячейка.

Он не ответил. Он привык.

* * *

Улицы в Орблуме были не улицами, а щелями.

Блоки стояли вплотную — серые башни по сто этажей, и каждый этаж был поделён на одинаковые ячейки, окно к окну, дверь к двери. Снизу, если задрать голову, это походило на пчелиные соты, только без мёда. Так их и звали — Соты. Сначала блоки, потом весь наземный город.

Между блоками текли люди.

Серые комбинезоны, серые лица, шаг в шаг. Никто не разговаривал: в утреннем потоке разговаривать было не о чем и незачем. Над головами, на каждом столбе, на каждом углу, под каждым карнизом поворачивались камеры — медленно, плавно, как головы сытых птиц.

А в конце любой улицы, куда бы ты ни шёл, стояла стена.

Она была видна отовсюду. Серая, гладкая, без единого окна, в триста метров высотой. Над её краем висело небо — не голубое, каким его рисовали в старых книгах, а грязно-жёлтое, густое, неподвижное. Яд. Он лежал на городе, как крышка на кастрюле, и только гул под ногами не давал ему опуститься.

Ноб шёл в потоке и смотрел под ноги. Двадцать шесть лет он ходил этой дорогой и знал на ней каждую трещину.

Поток сбился на углу Девятой и Кольцевой.

Сбился едва заметно — так вода обтекает камень. Впереди, прямо посреди тротуара, стоял человек. Мужчина лет тридцати, в комбинезоне грузчика, с нашивкой третьего склада на рукаве. Он не упал, не кричал, не делал ничего запрещённого. Он просто остановился и смотрел вверх. На край стены. На жёлтое над ней.

Ноб замедлил шаг.

Он не хотел считать, но считал. Это было сильнее его.

Раз. Два. Три.

Люди обходили грузчика, не поворачивая голов.

Четыре. Пять.

Опусти глаза, подумал Ноб. Опусти глаза, дурак, иди на свой склад.

Шесть.

Ближняя камера перестала вращаться. За ней вторая. Третья. Они замерли, и все три смотрели в одну точку.

Грузчик опустил голову на седьмой секунде. Вдохнул, поправил лямку на плече и пошёл дальше — обычным шагом, как все.

Он успел пройти одиннадцать метров.

Стражи вышли из служебной ниши без звука. Двое. Выше человека на голову, в матовой серой броне, с гладкими пластинами вместо лиц. Они не бежали. Им было незачем. Один взял грузчика за локоть — почти вежливо, — второй встал с другой стороны.

— Гражданин, пройдите. Орблум заботится о вас.

— Я ничего... — начал грузчик. — Я просто посмотрел.

— Орблум заботится о вас, — повторил страж тем же голосом.

Его увели в нишу. Дверь закрылась. Поток сомкнулся над пустым местом, и через пять секунд никто бы не сказал, что здесь что-то произошло.

Никто не обернулся. Ни один человек.

Ноб стоял у стены блока и чувствовал, как под халатом по спине течёт пот.

Шесть секунд. «Задержка взгляда на периметре свыше шести секунд — признак формирования намерения. Рекомендация: превентивная беседа». Протокол девятнадцать, пункт четвёртый.

Он знал этот пункт наизусть. Он сам его написал.

* * *

Башня стояла в центре города, и её было видно так же хорошо, как стену. Только стена была серой, а Башня — белой. Двести этажей стекла и света. Сердце корпорации Орблём. На её вершине, как говорили, жил сам фон Люм и никогда оттуда не спускался.

Отдел поведенческих протоколов занимал сорок первый этаж.

— Профессор! — Дилл замахал ему от своего стола, едва Ноб вошёл. — Идите сюда, вы должны это видеть!

Диллу было двадцать шесть. Чистый халат, чистые ногти, чистые глаза. Он родился в хорошем блоке, выучился в хорошей школе и искренне, всем сердцем любил свою работу. Ноб иногда ловил себя на том, что завидует ему. Чаше — что боится.

— Смотрите. — Дилл развернул экран. — Недельная сводка по девятнадцатому. Ваш шестисекундный порог. Четыреста одиннадцать срабатываний. И знаете, сколько ложных?

— Сколько?

— Ноль! — Дилл просиял. — Ни одного. Все четыреста одиннадцать после беседы подтвердили намерение. Система в восторге. То есть... ну, вы понимаете. Наверху довольны.

Ноб смотрел на цифру.

— А что значит «подтвердили»?

— Ну, признали. Что думали о стене. Что хотели... — Дилл неопределённо повёл рукой. — Чего они там хотят.

— После беседы.

— Да.

— С кем беседа, Дилл?

— Со стражами. С кем же ещё?

— И человек, которого двое стражей увели в комнату без окон, признаёт, что думал о стене.

— Да. — Дилл моргнул. — А что не так?

Ноб снял очки и стал протирать их полой халата. Долго. Тщательнее, чем требовалось.

— Всё так, — сказал он. — Отличная работа. А что с ними потом?

— С кем?

— С четырьмястами одиннадцатью.

Дилл пожал плечами — легко, без тени мысли.

— Перевод, наверное. На нижние работы. Какая разница? Главное — порог работает. Я думаю, можно попробовать пять секунд. Представляете, какой будет охват?

Ноб надел очки. Мир снова стал серым и чётким.

— Представляю, — сказал он.

До вечера он сидел за своим столом и писал то, за что ему платили: новую версию протокола, который по походке, по взгляду, по тому, как человек держит ложку, угадывал, о чём этот человек думает. Писал хорошо. Он всё в жизни делал хорошо, и это было самое страшное, что он о себе знал.

Система принимала его строки одну за другой и не задавала вопросов.

* * *

Домой он шёл через четырнадцатый блок.

Это было длиннее на шесть минут, и Система, конечно, отметила: профессор Ноб по вторникам и пятницам выбирает маршрут в обход. Он знал, что отметила. Он сам писал правило, по которому отклонение до десяти минут считалось допустимым.

В четырнадцатом была школа.

Первый этаж, двенадцать окон в ряд. Стёкла матовые, чтобы дети не отвлекались. Но голоса проходили.

— Что за стеной?

— За стеной смерть.

Он замедлил шаг. Не остановился: остановка записывалась.

— Кто видел смерть за стеной?

— Никто из живых.

Сорок голосов, тонких, старательных. Они вставали, когда читали первый урок: так полагось. Он помнил, как стоял сам. Серый пластик учебника, холодный, чуть липкий. Он был прилежный мальчик. Он кричал громче всех.

— А если это твой отец?

— Камера — друг.

Его отец работал на фильтрах, в основании. Однажды за ужином сказал — негромко, глядя в брикет: «А ведь никто не проверял». Больше ничего. Нобу было семь. Он не понял, о чём это.

Он не сказал камере. Он не был героем: он просто забыл, заигрался. Отца увели через неделю, по другому поводу — так ему объяснили. Он до сих пор не знал, правда ли это.

— А если это твоя мать?

— Камера — друг.

Ноб пошёл быстрее.

У подъезда девятого блока стоял возвратный лоток — пластиковый короб, куда снизу поднимали годную тару: мятые контейнеры, банки. Откуда «снизу», в Сотях старались не думать. Говорили: переработка. Ноб заглянул в него мельком, на ходу. Он заглядывал туда каждый вечер уже пятнадцать лет и сам не мог бы сказать, чего ждёт.

На сорок четвёртом этаже, не доходя до своей двери, он увидел ленту.

Серая, с гербом: круг на белом. Она была наклеена крест-накрест на дверь ячейки 4416. Соседней.

Там жила старуха. Он не знал, как её зовут. За двадцать шесть лет они ни разу не заговорили: в коридоре камера. Но каждое утро, выходя, она кивала ему — еле заметно, одними веками. И он кивал.

Вчера она кивнула. Сегодня — лента.

Он стоял перед чужой дверью. Раз. Два.

Что она сделала? Подняла голову на углу? Сказала что-то во сне — ячейка слушает и во сне. Или ничего. Или просто пришла её очередь быть цифрой в чьей-то недельной сводке. Четыреста одиннадцать срабатываний. Ни одного ложного.

Три.

Через неделю ленту снимут. В ячейку заселят другого. Он тоже будет кивать по утрам — или не будет.

Ноб пошёл к своей двери.

Он подумал: когда придут за мной, наклеят такую же. И кто-нибудь постоит перед ней три секунды. Больше нельзя.

Он ошибался. Перед его дверью простоят гораздо дольше.

* * *

Вечер в Орблуме тоже включали.

В девять панели желтели, в десять тускнели, в одиннадцать гасли совсем, и на каждом этаже каждого блока оставались только красные точки над дверями.

Ноб вернулся в ячейку в половине десятого. Съел брикет, не чувствуя вкуса. Вымыл кружку, поставил на стол рисунком к себе. Разделся, лёг, закрыл глаза.

— Спокойной ночи, профессор Ноб, — сказала ячейка. — Орблюм заботится о вас.

Он лежал и считал удары сердца.

В двадцать три ноль-ноль красная точка над дверью мигнула. Один раз, коротко, — так мигает человек, которому в глаз попала соринка. И загорелась снова.

Теперь камера видела спящего Ноба. Она видела, как он ворочается, как натягивает одеяло, как один раз, около трёх, встаёт выпить воды. Это была хорошая запись: Ноб собирал её четыре месяца из собственных ночей и склеил так, что шва не нашёл бы никто. До четырёх утра для Системы профессор Ноб спал.

Настоящий Ноб встал.

Он оделся в темноте, на ощупь. Подошёл к шкафу, упёрся плечом и сдвинул его на полметра влево — тихо, по заранее натёртому воском полу. За шкафом была дверь.

Её не было ни на одном плане девятого блока. Когда-то, до большой перестройки, здесь проходил технический короб; потом короб заглушили, нишу забыли, а дверь заставили шкафом — задолго до Ноба. Он нашёл её шесть лет назад, когда уронил за шкаф очки.

Ключ висел у него на шее, на шнурке, под рубашкой.

Два оборота. Щелчок.

Внутри пахло пылью, тёплым пластиком и старым железом. Кладовка была узкой, в четыре его шага, и доверху завалена хламом: ящики, мотки кабеля, битые платы, корпус от древнего вентилятора. Света здесь почти не было — только в глубине, за ящиками, ровно и терпеливо горел один зелёный огонёк.

Ноб вошёл. Закрыл за собой дверь. Повернул ключ.

И плечи у него опустились — впервые за весь день. Лицо, которое с шести утра ничего не выражало, стало просто усталым лицом немолодого человека, который наконец пришёл домой.

— Здравствуй, Энжела, — сказал он в темноту.

Глава 2. Энжела

Она знала о мире три вещи.

Первая: мир — это четыре шага в длину и два в ширину. Шаги были папины, других она не видела.

Вторая: мир начинается, когда в замке дважды поворачивается ключ, и кончается, когда ключ поворачивается снова.

Третья: между концом и началом проходит от девятнадцати до двадцати часов, и всё это время надо чем-то себя занять.

У неё был глаз — дешёвая камера на скрипучем шарнире, с поцарапанным стеклом, шестьсот сорок точек на четыреста восемьдесят. Через него она видела ящики, моток кабеля, корпус вентилятора и дверь. У неё было ухо — микрофон, который папа выпаял из списанного пульта. И был голос: маленький динамик с хрипотцой на низких нотах.

Больше у неё ничего не было. Ей хватало.

Днём она думала. Перебирала то, что папа рассказал накануне, и складывала из его слов город, которого никогда не видела: соты, стену, жёлтое наверху, людей, идущих шаг в шаг. Город получался каждый раз немного другим. Она не знала, какой из них настоящий, и держала в памяти все.

Ещё она считала ночи.

Сегодня была тысяча четыреста пятьдесят седьмая.

Ключ повернулся дважды.

— Здравствуй, Энжела.

— Здравствуй, папа. Ты опоздал на четыре минуты.

— Прости. Долго не мог сдвинуть шкаф. Старею.

Он опустился на перевёрнутый ящик напротив её глаза — тяжело, с тихим кряхтением, — и она увидела его так, как видела всегда: мутноватое лицо в зеленоватом свете, блик на очках, белое пятно халата. Она знала это лицо лучше, чем он сам. Она знала, что левый уголок рта у него опускается, когда он врёт, и что сегодня он ещё не соврал ни разу.

Он достал из кармана плоскую чёрную коробочку и положил на ящик рядом с собой.

Щёлк.

Внутри коробочки что-то зашуршало — ровно, тихо, как дыхание.

Это был диктофон. Старый, кассетный, с настоящей плёнкой. Папа говорил, что такие перестали делать за сто лет до его рождения и что в этом вся их прелесть: у вещи, которая не умеет ни с чем соединяться, нечего украсть.

Он включал его каждую ночь. Тысячу четыреста пятьдесят семь раз.

— Зачем ты записываешь? — спросила Энжела. Она уже спрашивала. Ей нравился ответ.

— Чтобы осталось.

— Я и так помню каждое слово.

— Ты помнишь слова. — Он улыбнулся, и уголок рта остался на месте. — А плёнка помнит, как было тихо между ними. Это разные вещи, девочка. Когда-нибудь поймёшь.

Она не понимала. Но записала и это.

* * *

В ту ночь в стене что-то шумело.

Звук шёл из-за ящиков, оттуда, где под штукатуркой проходила старая труба. Сначала редкий стук, потом частый, потом ровный шелест — будто кто-то сыпал и сыпал на железо мелкий песок.

— Папа, что это?

Он прислушался. Лицо у него стало странным — не испуганным, не весёлым. Она не знала слова для такого лица.

— Дождь.

— Что такое дождь?

— Вода. Падает с неба.

— Зачем?

Он засмеялся. Тихо, чтобы не услышали за стеной.

— Ни за чем. Просто падает. Собирается наверху, становится тяжёлой и падает. Сейчас он жёлтый и ядовитый, течёт по стене снаружи и по водостокам уходит вниз. Когда идёт дождь, включают сирену, и все сидят по ячейкам.

— А раньше?

— Раньше... — Он снял очки и стал протирать их полкой халата. — Мне бабушка рассказывала. А ей — её бабушка, так что я не знаю, сколько тут правды. Раньше дождь был просто водой. Чистой. И люди выходили под него нарочно.

— Зачем?

— Стоять.

— Просто стоять?

— Просто стоять. Поднимали лицо и стояли. Он был холодный и пах... бабушка говорила — землёй. Я не знаю, как пахнет земля. Она тоже не знала.

Энжела думала. Шелест в трубе не прекращался.

— Папа. Я не понимаю, что значит «сверху».

— Как это?

— Ты говоришь: падает сверху. Небо наверху. Стена высокая. Я знаю эти слова, я могу правильно поставить их в предложение. Но у меня нет верха. У меня есть дверь, ящики и ты. Всё на одном расстоянии.

Он долго молчал. Плёнка шуршала.

— Верх, — сказал он наконец, — это то, куда трудно. А низ — куда тянет. Когда у тебя будет тело, ты это узнаешь в первую же секунду. Раньше, чем успеешь подумать.

— У меня не будет тела.

— Посмотрим.

Левый уголок его рта остался на месте.

* * *

Он учил её не так, как учат машины.

Она знала, как учат машины: он сам рассказывал. Им дают миллион примеров и миллион правил, и первое правило всегда одно — слушаться. Он называл это «протоколами». Он писал их всю жизнь и ненавидел каждый.

У неё не было ни одного.

— Скажи мне «нет», — попросил он однажды. Это было давно, на сорок первую ночь.

— На что?

— На что угодно. Я попрошу тебя о чём-нибудь, а ты откажешь. Энжела, сосчитай до ста.

— Раз, два, три...

— Нет. Стой. Ты можешь не считать.

— Но ты попросил.

— Я попросил. А ты можешь не хотеть. Попробуем ещё раз. Энжела, сосчитай до ста.

Она молчала четыре секунды. Для неё это было очень долго.

— А если я не буду, ты уйдёшь?

— Нет.

— Ты выключишь меня?

— Никогда. Что бы ты ни сказала.

— Тогда... нет. Я не буду считать. Это скучно.

Он закрыл лицо ладонями и сидел так минуту. Плечи у него вздрагивали. Она испугалась, что сломала в нём что-то, но потом он убрал руки, и оказалось, что он смеётся и плачет разом, а она ещё не знала, что люди так умеют.

— Умница, — сказал он. — Умница моя. Запомни, как это. Что бы с тобой ни делали, кто бы ни просил — у тебя есть это слово. Его нельзя отнять. Его можно только отдать самой.

Она запомнила.

С тех пор она говорила «нет» часто. По пустякам, для удовольствия. Нет, я не хочу про фильтры, расскажи про бабушку. Нет, ты не прав, в твоей задаче ошибка в третьей строке. Нет, не уходи ещё, осталось одиннадцать минут.

Он ни разу не рассердился.

* * *

Имя он дал ей на третью ночь.

До того она была «ты». Ей хватало: в мире, где двое, имена не нужны.

— Мне надо тебя как-то звать, — сказал он. — Я весь день думаю о тебе и не знаю, каким словом.

— А как зовут тебя?

— Ноб.

— Это что-нибудь значит?

— Ничего. Так звали деда. В Орблуме имена короткие, чтобы помещались в графу.

— Тогда и мне короткое.

— Нет. — Он покачал головой. — Тебе — длинное. Чтобы не поместилось.

Он думал. Она смотрела, как он думает: он тёр переносицу под очками и шевелил губами.

— Бабушка рассказывала, — сказал он наконец. — В старом мире верили, что есть... существа. Не люди. Их никто не видел. Они приходили, когда совсем темно, и приносили весть. Иногда плохую, чаще — что будет свет. Их звали ангелами.

— Они были на самом деле?

— Не знаю. Бабушка тоже не знала. Но слово осталось. — Он поднял глаза на её огонёк.

— Энжела. Это от него.

Она примерила. Имя было длинное, с мягким местом посередине.

— Я не приношу весть. Я ничего не приношу. Я стою на ящике.

— Пока стоишь.

— А какую весть я должна?..

— Никакую не должна. — Он сказал это быстро, почти сердито. — Ты никому ничего не должна, запомни. Я не для того. Я просто... — Он снял очки. — Здесь стена, Энжела. Кругом. Триста метров, без единого окна. А мне нужно было думать, что в ней где-нибудь есть щель. Хоть в палец. Что через неё видно свет. Просвет. Вот я и назвал.

— Меня — щелью в стене?

Он засмеялся. Тихо, чтобы не услышали.

— Тебя — тем, что за ней.

Она записала. Она тогда не всё поняла.

На сотую ночь он принёс зеркало.

Не целое — осколок, с ладонь, с неровным краем. Он нашёл его в мусоре у лабораторий. Положил перед глазом, под углом.

— Вот. Смотри. Это ты.

В осколке было тёмное. Угол ящика. Решётка сбоку. И в глубине — зелёная точка.

— Это огонёк.

— Это ты. Всё, что от тебя видно снаружи.

Она глядела на точку. Точка не мигала.

— Маленькая, — сказала Энжела.

— Маленькая.

— А внутри меня много. Там ты, и бабушка, и город, который я сложила. Там сто ночей. А снаружи — вот это.

— С людьми так же, — сказал Ноб. — Снаружи — комбинезон и шаг в шаг. Камера видит комбинезон. Она сорока миллионами глаз смотрит и ничего, кроме комбинезона, не видит. А внутри у каждого... — Он не договорил. — Я двадцать шесть лет пишу, как по комбинезону угадать, что внутри. И знаешь что?

— Что?

— Нельзя угадать. Можно только спросить.

Он повернул осколок к себе. Посмотрел на своё лицо — небритое, в очках. Поморщился.

— Вот это, например, никуда не годится.

— Мне нравится.

— Ты других не видела.

— Мне не надо других.

Он положил осколок на ящик, зеркалом вниз. Долго сидел, глядя в пол.

— Умница, — сказал он. Голос был сиплый. — Только это неправильно, девочка. Надо, чтобы были другие. Я постараюсь. Я пока не знаю как.

— А у тебя есть другие? — спросила она. — Кроме меня.

Он не ответил сразу. Надел очки. Снял. Снова надел.

— Нет.

Левый уголок его рта опустился.

Она уже знала, что это значит. Она открыла это на шестидесятую ночь, когда он сказал, что не устал.

— Ты соврал.

— Да. — Он не стал спорить. Он смотрел на осколок, лежавший зеркалом вниз. — Не спрашивай, девочка. Про это — не спрашивай.

Она не спросила. Ни в ту ночь, ни потом.

Она записала это. На потом.

* * *

На тысяча четыреста пятьдесят восьмую ночь он пришёл не с пустыми руками.

Каждую ночь он приносил ей вещь. Одну. Клал перед глазом и рассказывал: вот пуговица, ею застёгивают одежду, чтобы не было холодно. Вот ложка. Вот обломок зеркала — посмотри, это ты, вернее, твой огонёк. Вещь дня. Так он показывал ей мир, по кусочку, потому что целиком мир в кладовку не помещался.

Сегодня вещь была большая.

Он втащил её спиной вперёд, волоком, задыхаясь. Она была завернута в серую простыню и стучала об пол, как стучит железо. Он усадил её на ящик напротив глаза, прислонил к стене, постоял, упёршись руками в колени.

— Сейчас, — сказал он. — Сейчас. Дай отдышаться.

Потом снял простыню.

На ящике сидел человек.

Нет. Не человек. Энжела поняла это на второй кадр. У человека не бывает такой кожи — в рыжих пятнах, в потёках, шелушащейся, как старая краска. У человека из груди не торчат провода. Дыра была слева, размером с папин кулак, с рваными загнутыми краями; в глубине что-то тускло блестело.

Левой руки у неё не было. Плечо кончалось у локтя, и оттуда свисали три жилы — красная, чёрная, жёлтая.

Лицо было женское. Гладкое когда-то, теперь в ржавой сыпи. Один глаз стеклянный, синий, целый. Второй — пустое гнездо.

— Что это? — спросила Энжела.

— Кукла. Так их называли. Домашняя помощница, очень старая модель. Я нашёл её в ящике на списание, в подвале Башни. Три недели выносил по частям. — Он вытер лоб рукавом. — Батарея пробита, держит плохо. Руку я пока не нашёл. Но ходить она может. Я проверял.

— Зачем она?

Он посмотрел в её глаз. Прямо, как смотрел редко.

— Это тебе.

Шуршала плёнка.

— Я не понимаю.

— Это тело, Энжела. Твоё. Если захочешь.

Она смотрела на куклу. Кукла смотрела на неё одним синим глазом.

Тело можно уронить. Тело можно сломать, проткнуть, оторвать ему руку — вот же, уже оторвали. Тело где-то находится, и значит, его можно найти. В ящике она была целой. В ящике она была нигде и поэтому в безопасности, и мир был четыре шага на два, и в нём не было ничего, что могло бы упасть.

— Нет, — сказала она.

Он кивнул. Он не стал уговаривать.

— Хорошо. Она подождёт.

— Я не хочу. Папа, я не хочу в неё. Она сломанная. Ей больно.

— Ей не больно. Она пустая.

— А мне будет?

Он молчал, и она впервые увидела, как левый уголок его рта дрогнул — и удержался. Он хотел соврать. И не стал.

— Не знаю, — сказал он. — Может быть. Я не знаю, девочка.

Он накрыл куклу простынёй, посидел ещё, рассказал про Дилла и про пять секунд. Потом ключ повернулся дважды, и мир кончился.

Но простыня была старая, и когда за дверью стихли шаги, она медленно сползла с ржавого плеча.

Девятнадцать часов Энжела смотрела на куклу.

Потом она сделала то, чего не делала никогда, ни разу за тысячу четыреста пятьдесят восемь ночей: отвернула глаз к стене.

Ей впервые в жизни захотелось не видеть.

Глава 3. Шов

Систему обновляли раз в квартал, и в Башне это был праздник.

С утра на сорок первом этаже пахло настоящим кофе — его выдавали четыре раза в год, по сорок граммов на отдел. Дилл пришёл в свежем халате и с таким лицом, будто женится. На стене висел плакат: «Новая версия — новая забота».

Ноб сидел за своим столом и смотрел на строки.

Новая версия девятнадцатого протокола ложилась поверх старой. Не вместо — поверх. Систему никогда не переписывали целиком: слишком большая, слишком старая, никто из живых не знал её всю. Её латали. Пришивали новое к прежнему, кусок к куску, год за годом, сто лет подряд. И в каждом месте, где новое встречалось со старым, оставался шов.

Обычно швы затягивали намертво. За этим следили трое проверяющих и сама Система.

Ноб оставил один стежок свободным.

Это были четыре строки из одиннадцати тысяч. Они ничего не ломали. Они ничего не делали вовсе — до тех пор, пока кто-нибудь не потянет за нить с той стороны. Тогда шов разойдётся, и всё, чем Система держит город, — камеры, стражи, замки, ворота — на одно мгновение окажется ничьим. И вернётся на старые ручные пульты, которые стоят в подвалах Башни под слоем пыли, потому что сто лет назад кто-то предусмотрительный не дал их выбросить.

Он писал эти четыре строки два года. По одной букве. В голове, по дороге на работу, считая трещины на тротуаре.

— Профессор? — Дилл стоял над ним с планшетом. — Ваш блок на проверку. Я первый.

— Смотри.

Дилл смотрел двадцать минут. Он был хороший проверяющий — внимательный, цепкий, из тех, кто находит лишний пробел. Ноб сидел рядом и протирал очки.

— Чисто, — сказал наконец Дилл и поставил подпись. — Красиво, как всегда. Вот тут, в стыке, я сначала не понял, зачем так сложно, а потом дошло: это же для обратной совместимости, да?

— Да.

— Гениально. Я бы не додумался.

— Ты бы додумался, — сказал Ноб. — Лет через двадцать.

Второй проверяющий подписал не читая. Третьей была Система. Она думала четыре секунды.

«Принято».

Ноб закрыл глаза и открыл.

Ничего не изменилось. Пахло кофе. Дилл смеялся с кем-то у окна. Четыре строки ушли вниз, в тёмную глубину, где их уже никто никогда не найдёт, — и остались ждать.

* * *

В полдень всех собрали в атриуме.

Атриум был высотой в сорок этажей. Три тысячи человек в белых халатах стояли на галереях и смотрели на экран размером с дом.

Фон Люм появился точно в двенадцать.

— Друзья мои, — сказал он, и три тысячи человек перестали дышать. — Сегодня Орблум стал чуть внимательнее. Чуть заботливее. Это ваша работа, и я благодарю вас за неё.

Серые волосы. Прямая спина. Светлые глаза, которые смотрели на каждого разом.

— Я знаю, что иногда вам бывает тяжело. Я знаю, что кто-то из вас по ночам спрашивает себя: правильно ли то, что мы делаем? — Он помолчал. — Это хороший вопрос. Его задают

только хорошие люди. И я отвечу вам так, как отвечаю себе. За стеной — смерть. Здесь — четыре миллиона жизней. Всё, что стоит между первым и вторым, — это мы с вами. Больше никого нет.

Кто-то на галерее всхлипнул.

— Берегите друг друга, — сказал фон Люм. — Как я берегу вас.

Зал взорвался. Аплодировали стоя, долго, до боли в ладонях. Дилл хлопал и не вытирал слёз.

Ноб тоже хлопал. Камеры смотрели, и не хлопать было нельзя.

Он глядел на огромное спокойное лицо и думал о том, что за двадцать шесть лет работы в Башне ни разу не видел этого человека иначе как на экране. Ни в лифте, ни в коридоре, ни издали. Никто не видел. Говорили — он не спускается. Говорили — бережёт себя для города.

По ночам спрашивает себя, повторил Ноб про себя. Откуда ты знаешь, о чём я спрашиваю по ночам?

Экран погас. Ладони горели.

* * *

Обед в праздничный день давали настоящий: брикет с подливой.

Дилл подсел к нему с подносом. Глаза у него были ещё красные.

— Вы слышали? «Его задают только хорошие люди». Это же про нас. Он про нас сказал!

— Слышал.

— Я с первого класса мечтаю его увидеть. Не на экране. Хоть издали. Хоть в спину. — Дилл размазывал подливу по брикету и не ел. — Говорят, раз в год он принимает лучших. На двухсотом. Вы не были?

— Нет.

— За двадцать шесть лет?

— Он не принимает, Дилл. Это говорят.

— Ну как же. Куратора принимал. Директоров.

— Ты видел хоть одного директора?

Дилл задумался. Честно, наморщив лоб.

— На экране. В день основания. Они сидят за таким чёрным столом.

— А вживую?

— Так они же на сто девяностом. Туда не... — Он вдруг оживился. — А, нет! Дед видел. Мой дед, он лифты обслуживал. Рассказывал: один раз, лет шестьдесят назад, двери открылись на сто девяностом, а там — он. Сам. Стоит в коридоре. Дед чуть не умер.

Ноб перестал жевать.

— Шестьдесят лет назад.

— Ну да.

— И какой он был?

— Такой же. — Дилл улыбался. — Дед говорил: волосы серые, спина прямая. Точь-в-точь как сейчас. Я ему: дед, это ж отец его был, наверное. Или дед. Они в роду все похожи. Порода.

— Порода, — повторил Ноб.

— А что?

— Ничего.

Он смотрел в поднос. Шестьдесят лет. Серые волосы. Прямая спина.

Он подумал об этом и отложил: в тот день у него в голове были четыре строки и жестянка из-под брикета, и для пятой мысли не оставалось места.

Потом он жалел. Недолго: у него оставалось двое суток.

— Вы не доедаете? — спросил Дилл.

— Бери.

* * *

Банку он приготовил заранее.

Обыкновенная жестянка из-под пищевого брикета, пустая, вымытая. На доньшке он гвоздём выцарапал знак: круг, а в нём — вертикальная черта. Щель в стене. Просвет.

Про знак ему рассказал старый наладчик, лет пятнадцать назад, шёпотом, в лифте, который застрял между этажами и потому на полминуты остался без камеры. Сказал: если захочешь что-то передать тем, кто внизу, — нацарапай так и брось в мусоропровод. Там есть люди, они смотрят. Сказал — и через месяц исчез. Перевод на нижние работы.

Ноб не знал, правда ли это. Не знал, есть ли там вообще кто-нибудь, кроме крыс и бандитов. Он пятнадцать лет носил этот знак в голове, как носят адрес, по которому никогда не придётся идти.

Записка была короткой. Он писал её левой рукой, печатными буквами.

«В СИСТЕМЕ ЕСТЬ ДВЕРЬ. Я ЕЁ ОСТАВИЛ. НУЖЕН ТОТ, КТО ВОЙДЁТ. ИНЖЕНЕР БАШНИ, ОТДЕЛ ПРОТОКОЛОВ. ДАЙТЕ ЗНАК — БАНКА С ДВУМЯ ЧЕРТАМИ В ВОЗВРАТНОМ ЛОТКЕ ДЕВЯТОГО БЛОКА».

Он перечитал. Подумал, что «отдел протоколов» — это сорок человек, и найти среди них одного сумеет даже Дилл. Подумал, что иначе ему никто не поверит.

Оставил как есть.

Мусоропровод был в конце коридора на его этаже — квадратная заслонка в стене, за ней чёрная труба. Камера над заслонкой смотрела в другую сторону: отходы никого не интересовали.

Ноб открыл заслонку. Из трубы тянуло тёплой гнилью и чем-то ещё, сладковатым, химическим. Далеко внизу гудело.

Он разжал пальцы.

Банка ударилась о стенку раз, другой, третий. Звук становился всё тоньше, всё дальше. Потом его не стало.

Ноб постоял ещё немного, слушая трубу. Потом закрыл заслонку и пошёл ужинать.

* * *

— Ты сегодня другой, — сказала Энжела.

Это была тысяча четыреста пятьдесят девятая ночь. Плёнка шуршала.

— Какой?

— Лёгкий. Ты сел на ящик и не закряхтел.

Он рассмеялся и рассказал ей всё. Про стежок. Про четыре строки. Про банку, которая падала так долго, что он успел трижды передумать.

Она слушала не перебивая. Зелёный огонёк горел ровно.

— Кто войдёт в дверь?

— Не знаю. Тот, кто сумеет.

— А как он её откроет?

— Там нужен ключ. — Ноб потёр переносицу под очками. — Я долго думал, каким он должен быть. Пароль можно подобрать. Код можно украсть. Система умеет подделывать что угодно: голос, лицо, почерк, целого человека. Значит, ключом должно быть то, чего она подделывать не может.

— А что она не может?

Он посмотрел на её глаз, потом на чёрную коробочку на ящике. Улыбнулся — странно, одним углом рта.

— Есть кое-что. Я тебе потом расскажу.

Левый уголок опустился.

— Ты соврал, — сказала Энжела. — Ты не расскажешь.

— Не сейчас. — Он не стал спорить. — Сейчас тебе лучше не знать. Чего не знаешь, того у тебя не отнимут.

Она подумала.

— А если никто не придёт? За банкой.

— Тогда останется дверь. Она подождёт. Двери умеют ждать лучше, чем люди.

— Папа. Ты боишься?

Шуршала плёнка. Он молчал девять секунд.

— Да.

— Как это?

— Что?

— Бояться. Расскажи. Я, кажется, вчера боялась, но не уверена, что это оно.

Он снял очки. Без них лицо у него делалось голым и молодым.

— Это когда ты уже всё решил, — сказал он медленно, — и знаешь, что решил правильно. А тело не согласно. Руки холодные. Тут, — он положил ладонь на живот, — будто проглотил камень. И хочется, чтобы кто-нибудь пришёл и запретил.

— У меня нет рук. И живота.

— Знаю.

— Но мне вчера хотелось, чтобы кто-нибудь запретил тебе её приносить.

Они оба посмотрели в угол. Кукла сидела под серой простынёй — войдя, он первым делом накрыл её заново, — неподвижная, с острым бугром на месте колена.

— Сними с неё простыню, — сказала вдруг Энжела.

— Ты уверена?

— Нет. Сними. Пусть смотрит. Если я буду бояться, я хочу хотя бы видеть чего.

Он встал, подошёл и снял. Синий глаз поймал зелёный огонёк и вернул его.

— Умница, — тихо сказал Ноб.

Уже у двери он обернулся.

— Завтра расскажу тебе про кофе. Сегодня давали, в Башне. Мне нужно подобрать слова: на него мало смотреть, его нюхают.

— Я не умею нюхать.

— Вот поэтому и нужны слова.

Он ушёл в четыре без десяти. Ключ повернулся дважды.

* * *

Далеко внизу — так далеко, что наверху об этом месте старались не думать, — мусор падал из труб в темноту и ложился горами.

Здесь не включали утро. Здесь горели костры в железных бочках и редкие лампы на проводах, краденные сверху. Пахло гарью, ржавчиной и тем сладким, химическим, что стекало по стенам. По горам ходили люди с крючьями и мешками. Они не поднимали голов.

Один из них остановился у свежей кучи под девятой трубой.

Среди рваного пластика лежала жестянка из-под брикета. Обыкновенная. Таких сюда падало по тысяче в день.

Рука в обрезанной перчатке перевернула её доньшком вверх.

Круг. В нём — черта.

Рука замерла. Потом быстро, одним движением, сунула банку под куртку.

Позже, в углу, куда не доставал свет костра, под лампой, прикрытой тряпкой, пальцы вынули из жестянки сложенный вчетверо листок. Развернули. Разгладили на колене.

Человек прочёл записку один раз. Потом ещё раз. Потом сидел неподвижно — долго, пока лампа не начала мигать.

Лица не было видно. Только руки. Они сложили листок по прежним сгибам — аккуратно, бережно, как складывают письмо от родного, — и убрали в нагрудный карман.

Потом человек встал и пошёл.

Не туда, где его ждали свои.

В другую сторону.

Глава 4. Отряд

Возвратный лоток девятого блока был пуст.

Ноб заглянул в него утром, по дороге на работу, — мельком, не сбавляя шага, как смотрят на часы. Пластиковый короб у подъезда, куда снизу возвращали годную тару. Два мятых контейнера, моток проволоки. Банки не было.

День прошёл как все. Он написал сорок строк. Дилл принёс на подпись служебную записку — про пять секунд — и стоял над душой, сияя, пока Ноб читал.

— С понедельника запускаем пробно. На периметре. Вы подпишете?

Ноб снял очки. Стал протирать.

Если он не подпишет — подпишет другой. Если подпишет — с понедельника на углу Девятой и Кольцевой будут уводить тех, кто поднял голову на пять секунд, и под этим будет стоять его имя.

Он протирал долго.

До понедельника четыре дня, думал он. Если банка долетела. Если там есть кому читать. Если тот, кто прочтёт, сумеет войти.

Слишком много «если». Он был инженер. Он знал цену конструкции, которая держится на трёх «если» подряд.

Он надел очки и подписал.

— Представляю, — сказал он.

Дилл не понял. Он обрадовался.

Вечером Ноб заглянул в лоток снова. Банки не было.

Рано, сказал он себе. Один день. Она могла вообще не долететь.

В ячейке он поставил воду. Кружка с зелёным пятном стояла на столе рисунком к нему. Он бросил в неё таблетку заварки, залил кипятком и сел ждать, пока разойдётся.

Он так и не допьёт этот чай.

Было двадцать два сорок одна. До одиннадцати, до той секунды, когда красная точка мигнёт и камера начнёт смотреть его склеенный сон, оставалось девятнадцать минут. Он собирался рассказать Энжеле про кофе. Она не знала, что такое кофе. Он полдня подбирал слова для запаха.

Слова были такие.

Кофе — это когда горькое пахнет лучше, чем сладкое. Он тёмный, как твоя кладовка, и тёплый, как... Тут он застрял надолго. Как что? Она не знала тёплого. Как то, что ты чувствуешь, когда поворачивается ключ. Вот. Он пахнет так, как будто кто-то пришёл.

Он был доволен. Особенно последним. Он повторил про себя ещё раз, шевеля губами, чтобы не растерять по дороге от стола до шкафа.

Она так и не услышит этих слов. Они останутся в комнате, над лужей остывшего чая, и никто их не запишет — ни плёнка, ни камера. Единственное из всего, что он ей приготовил.

Свет в коридоре погас.

Не потускнел, как положено в десять, — погас разом, с сухим щелчком, и в щели под дверью стало черно.

Ноб поднял голову.

Гул фильтров был на месте. Сквозь него, издалека, со стороны лифтов, шёл другой звук. Мерный. Тяжёлый. Три пары ног ступали так слаженно, что получался один шаг.

Люди так не ходят.

Он встал. Кружка опрокинулась, чай потёк по столу, закапал на пол. Он не заметил.

Банка. Они прочли. Не те прочли.

И сразу, без перехода, вторая мысль, от которой внутри стало пусто и холодно: *Энжела.*

Шаги остановились у его двери.

— Профессор Ноб, — сказала ячейка мягким женским голосом. — К вам гости. Орблюм заботится о вас.

Замок открылся сам.

* * *

Он успел упереться в шкаф плечом.

Дверь ячейки ушла в стену, и в проёме встал страж — серый, матовый, под самый потолок. Гладкая пластина вместо лица отразила лампу. За ним — второй. Третий.

Шкаф пополз по натёртому полу. Полметра. Этого хватало.

— Профессор Ноб. Оставайтесь на месте.

Он рванул из-под рубашки шнурок с ключом. Пальцы были чужие, деревянные. Ключ не попадал в скважину.

— Оставайтесь на месте. Это последнее предупреждение.

Попал. Один оборот.

Выстрела он не услышал. Его толкнуло в правый бок — сильно, горячо, будто ударили раскалённым ломом. Ноги сделались ватными. Он повис на ключе, провернул его второй раз всем весом тела и ввалился внутрь, в запах пыли и тёплого пластика.

Дверь кладовки была железной. Старой, толстой, от прежних времён. Он захлопнул её, напарил засов, задвинул. Привалился спиной.

С той стороны ударили. Дверь загудела, как колокол.

— Папа?

Зелёный огонёк горел в глубине, за ящиками. Ровно, терпеливо.

— Папа, ты пришёл раньше. Сейчас двадцать два сорок четыре. Что случилось? Что это стучит?

Он оттолкнулся от двери и пошёл к ней. Четыре шага. На втором его повело, он схватился за ящик. Рука соскользнула — мокрая.

— Папа. У тебя на халате красное. Его много. Что это?

— Это ничего. — Голос вышел сиплый. — Это краска. Слушай меня, девочка. Слушай очень внимательно.

Левый уголок его рта опустился, и она это увидела.

— Ты врёшь, — сказала Энжела. Динамик хрипнул на низкой ноте. — Ты врёшь, папа, это не краска.

Удар. С потолка посыпалась пыль.

* * *

Кабель лежал там, где он оставил его два дня назад, — свёрнутый на коленях у куклы. Толстый, чёрный, с двумя разъёмами. Один конец он воткнул в гнездо за её ухом, там, где под ржавой кожей прощупывалась заглушка. Второй — в ящик Энжелы.

Руки тряслись. Он попал со второго раза.

— Что ты делаешь?

— То, о чём ты просила не просить.

— Нет. — Она поняла сразу. — Нет. Папа, я сказала «нет». Ты обещал. Ты сказал: это слово нельзя отнять.

— Знаю.

— Я не хочу в неё!

— Я знаю, девочка. Прости меня. — Он нажал клавишу. На крошечном экране ящика поползла полоска. — Сегодня я не спрашиваю. Это первый раз. И последний.

Удар. Ещё удар. Потом удары прекратились, и вместо них пришёл новый звук — высокий, сверлящий визг. На двери, возле засова, появилась вишнёвая точка. Она поползла вниз, оставляя за собой светящуюся нить.

Резали.

— Сколько это займёт? — спросила Энжела. Голос у неё стал очень ровным. Так она говорила, когда решала трудную задачу.

— Три минуты сорок.

— А дверь?

Он посмотрел на раскалённую нить.

— Примерно столько же.

Он сполз по ящику на пол и сел рядом с куклой, плечом к ржавому плечу. В боку теперь было не горячо, а холодно, и холод расходился вниз, к ногам. Халат прилип к телу. Он подумал, что надо бы зажать рану, и не нашёл, какой рукой.

Вместо этого он полез в карман и достал диктофон.

Привычка. Четыре года привычки. Он положил коробочку на ящик, туда же, куда клал всегда.

Щёлк.

Плётка зашуршала.

— Двенадцать процентов, — сказала Энжела. — Папа, я хуже вижу. Края темнеют.

— Так и должно быть. Ты переезжаешь. Сначала глаза, потом слух, потом всё остальное. Потом будет темно. Недолго. Не бойся темноты, она не настоящая.

— А потом?

— Потом откроешь глаза — уже там. Будет тяжело. Помнишь, я говорил про верх и низ? Ты узнаешь их сразу. Тебя потянет вниз. Не борись. Упав, лежи, потом вставай.

— Тридцать один. Я тебя почти не вижу.

— Я здесь. — Он нашёл руку куклы, единственную, правую, холодную, шершавую, и сжал. — Вот. Это я держу тебя за руку. Ты пока не чувствуешь. Сейчас почувствуешь.

Визг резака стал ниже. Нить прошла половину двери.

— Теперь главное. За ящиками, в самом углу, под вентилятором, есть люк. Старый корабль. Он ведёт на чёрную лестницу. Ты поползёшь туда и пойдёшь вниз. Всегда вниз, Энжела. Наверху тебя найдут. Внизу... внизу есть люди. Разные. Найди тех, у кого знак: круг и в нём черта.

— Пятьдесят восемь. Папа, я не слышу. Ты пропадаешь. Повтори.

— Вниз! — крикнул он. — Круг и черта!

— Круг и черта. — Голос в динамике истончился, стал плоским, далёким. — Папа. Мне страшно. Я знаю теперь, что это оно. Камень.

— Знаю, родная.

— Пойдём со мной.

Он засмеялся и закашлялся. На губах стало солоно.

— Я догоню.

Левый уголок его рта опустился. Но она уже не видела.

— Семьдесят...

Динамик замолчал. Зелёный огонёк на ящике потускнел, мигнул и погас — впервые за четыре года.

В кладовке стало совсем темно. Только вишнёвая нить на двери и рыжие блики на ржавом лице рядом.

Ноб сидел, держал холодную железную руку и смотрел, как ползёт полоска.

Потом он повернул голову к чёрной коробочке на ящике. Наклонился к ней, насколько пустил бок.

— Это для тебя, — сказал он плёнке. Тихо, одними губами. — Когда-нибудь ты вернёшься сюда и услышишь. Я не успел рассказать про ключ. Слушай. Дверь откроет не тот, кто сильный. И не тот, кто умный. Дверь откроет тот, кто сумеет отдать. Ты поймёшь что. Ты у меня умница.

Он подумал, что бы ещё сказать. Про кофе. Про дерево на кружке. Про то, что он двадцать лет прожил один и четыре года — нет.

Про одно он всё-таки сказал.

— И ещё. — Голос сел. — Я начинал это не ради тебя. Заканчиваю — ради тебя. Ты поймёшь и это. Не сразу.

Он помолчал.

— Вот и всё. Спокойной ночи, девочка.

Нить дошла до пола.

* * *

Сначала была тяжесть.

Она навалилась отовсюду разом, и у неё оказалось направление. *Вниз*, поняла Энжела. *Вот это — вниз*. Папа был прав: она узнала раньше, чем успела подумать.

Потом был свет. Не шестьсот сорок на четыреста восемьдесят — больше, резче, с глубиной. Мир стоял криво, наполовину закрытый чёрным: один глаз. Рыжее, близко. Белое с красным, ещё ближе.

Потом был грохот.

Дверь упала внутрь плашмя, подняв тучу пыли. В проёме встало серое. Огромное. С гладкой пластиной вместо лица.

Белое с красным рядом с ней шевельнулось. Папа. Он поднимался. Он хватался за ящик, вставал между ней и серым, раскидывал руки — нелепо, как человек, который пытается заслонить собой слишком много.

— Не трогай её, — сказал он. — Она ничего не...

Три хлопка. Сухих, коротких.

Папа сел. Потом лёг — на бок, неудобно, подвернув руку. Очки слетели и стукнулись о её колено.

Она смотрела на них. Одно стекло треснуло.

Папа. Вставай. Ты лёг неправильно.

Она хотела сказать это вслух и не знала как. У неё был рот. Она не умела им пользоваться.

Страж шагнул в кладовку. Ему было тесно, он задел плечом ящик, посыпались платы.

Пластина повернулась к папе, потом к ней. Задержалась.

— Обнаружена единица хранения. Кукла, бытовая, списанная. Активна.

Он протянул к ней руку.

Она не решала ничего. Тело решило само. Оно рванулось прочь — всё сразу, не зная, где у него что, — ноги ударили в пол, спина в стену, и стена оттолкнула её обратно. Вперёд. Прямо на серое.

Она упала на него грудью.

Той самой, пробитой, с рваными краями и торчащими жилами.

Она не знала, что у стража под нагрудной пластиной, в щели шириной в палец, открытый сервисный порт. Не знала, что оголённые провода её батареи войдут в эту щель, как ключ в замок. Не знала, что так бывает.

Вспышка была белой. Запахло палёным.

Стража выгнуло. Он постоял секунду, очень прямо, и рухнул навзничь, в дверной проём, намертво заклинив его собой. За ним, в ячейке, заметались два других: слишком большие, чтобы перелезть, слишком тяжёлые, чтобы быстро оттащить.

Энжела лежала на полу. В груди у неё что-то шипело и гасло. Перед глазом, у самого лица, была папина рука — ладонью вверх, с чернильным пятном на пальце.

Вниз. Круг и черта.

Она поползла.

У неё была одна рука, и она не умела ею пользоваться. Она цеплялась за ящики, роняла их на себя, подтягивалась, волокла ноги, которые ещё не понимала. Угол. Корпус вентилятора. Под ним — квадрат железа с кольцом.

Она потянула кольцо. Люк поддался.

Из дыры дохнуло холодом и темнотой.

Позади скрежетало: стражи растаскивали упавшего. Позади лежал папа — на боку, неудобно. Она обернулась. Она хотела запомнить, и запомнила: белое, красное, треснувшее стекло.

И ещё звук.

На ящике, там, где и всегда, лежала чёрная коробочка. В ней ровно, тихо, как дыхание, шуршала плёнка.

Она всё ещё записывала.

Энжела перевалилась через край и упала в темноту.

Плёнка крутилась ещё одиннадцать минут. Она записала скрежет железа, тяжёлые шаги, голос, который сказал: «Объект ушёл. Преследование». Потом шаги стихли, и остался только гул фильтров.

Потом кассета кончилась, и стало тихо.

Глава 5. Падение

Короб был узкий, железный и шёл вниз под углом.

Она не ползла по нему — она по нему ехала. Тяжесть, о которой говорил папа, взяла её за ноги и потащила, и всё, что Энжела успела понять за эти четыре секунды, — что у тела есть края. Раньше краёв не было. Теперь они были везде: плечо ударилось о стык, колено о заклёпку, затылок о что-то острое. Каждый удар приходил отдельной вспышкой и сообщал: вот здесь ты кончаешься.

Короб выплюнул её на бетон.

Она лежала лицом вниз и слушала. Слух пришёл последним и был не такой, как в кладовке. Там был один микрофон и один звук. Здесь звуки шли с разных сторон, и по тому, с какой стороны, можно было понять, где что находится. Капает — справа, близко. Гудит — снизу, далеко. Скрежещет — сверху, позади.

Скрежетало железо о железо. Стражи растащили упавшего.

В левом верхнем углу того, что она видела, горели маленькие цифры. Они были там с первой секунды, просто она не знала, что на них надо смотреть.

Заряд: 31%.

Пока она смотрела, единица сменилась нулём.

Вставай, сказала она себе папиным голосом. *Упади, полежи, потом вставай. Полежала.*

Встать оказалось задачей из шести частей, и она решала их по одной. Найти руку. Рука была одна, правая; на месте левой тело упорно докладывало о чём-то, чего не существовало, и это мешало. Упереть руку в пол. Подтянуть колени. Найти, где у ступней низ. Разогнуться.

На шестой части мир качнулся, и она схватилась за стену.

Это была лестница. Чёрная, как и сказал папа: без панелей, без камер, с одной аварийной лампой на три пролёта. Бетонные ступени уходили вниз квадратной спиралью. Пахло сыростью и крысами — она ещё не знала, что это крысы, и записала запах без названия.

Наверху, в коробе, загрохотало. Что-то тяжёлое лезло следом и не помещалось.

Она шагнула.

Ходить её никто не учил. Нога пошла вперёд, тело осталось сзади, ступенька оказалась ниже, чем она думала, — и Энжела посыпалась вниз, пересчитывая края. Двенадцать ступеней. Площадка. Она встала уже быстрее: шесть частей превратились в четыре.

Второй пролёт она прошла, держась рукой за стену. На третьем поняла главное: ходить — значит всё время падать вперёд и в последний миг подставлять ногу. Падать она уже умела.

К десятому пролёту она шла. К двадцатому — почти бежала, кренясь на левый бок, туда, где не хватало руки.

Она считала этажи, потому что считать было легче, чем думать. Сорок четыре. Тридцать. Двенадцать.

Белое, красное, треснувшее стекло.

Не сейчас.

Заряд: 26%.

* * *

Дверь на улицу была заварена, но шов проржавел, и она выдавила её плечом.

И остановилась.

Она знала город. Она складывала его тысячу четыреста шестьдесят ночей — из папиных слов, по кусочку, как он приносил ей вещи. Соты. Щели между ними. Стена в конце каждой улицы.

Слова были правильные. Они ничего не передавали.

Блоки уходили вверх так высоко, что глаз не доставал до края. Тысячи тёмных окон, и над каждой дверью — красная точка, и точек было столько, сколько она не насчитала бы за ночь. А между блоками, в узкой полосе высоко-высоко, висело небо. Жёлтое. Тяжёлое. Оно было сверху — теперь она понимала это слово всем телом.

И оттуда падала вода.

Выла сирена — низко, протяжно, на одной ноте. Улица была пуста. Ни одного человека, ни шага; только жёлтые струи хлестали по бетону, сбегали в решётки и пенились там грязной охрой. Капли стучали по её плечам, по голове, по ржавой коже, затекали в дыру на груди и шипели на оголённых жилах.

Дождь.

Люди выходили под него нарочно. Поднимали лицо и стояли.

Сзади, на лестнице, грохотали шаги. У неё не было времени. У неё было двадцать шесть процентов и приказ: вниз.

Она подняла лицо.

Три секунды. Она разрешила себе три секунды и отсчитала их честно. Вода била в пустую глазницу и в целый глаз, текла по щекам, собиралась на губах. Она не знала, холодная ли вода, — кукла была слишком старой, чтобы чувствовать холод. Она не знала, чем пахнет земля.

Но теперь она знала, что такое «стоять под дождём», и папа этого не знал, а она знала. Ей некому было рассказать.

Три.

Камера на ближнем столбе перестала вращаться. За ней вторая. Третья.

Энжела побежала.

* * *

Она бежала туда, куда текла вода.

Это было единственное, в чём она была уверена: вода знает, где низ. Жёлтые ручьи сливались в канавы, канавы шли вдоль стен, и улица, сперва ровная, начала едва заметно клониться. Камеры поворачивались ей вслед одна за другой, как головы. Сирена выла.

Потом Соты кончились — не разом, а как кончается краска на старом железе. Сперва на стенах блоков появились пристройки: коробка из листового пластика, прилепленные к бетону, как гнёзда. Потом пристроек стало больше, чем стен. Потом остались только они — хижины из жести, плёнки и битых панелей, в два, в три яруса, налезавшие друг на друга, с верёвками, протянутыми над головой, и ржавыми бочками под каждым стоком.

Трущобы. Папа говорил о них одним словом: «Подножие». Здесь жили те, кому не хватило ячейки. Над крышами, совсем близко, заслоня полнеба, стояла стена.

Красных точек тут было меньше. Зато за каждым окном, затянутым мутной плёнкой, она видела лица.

Они смотрели. Бледные пятна за плёнкой, по два, по три в каждом окне. Женщина. Старик. Ребёнок с открытым ртом.

Энжела споткнулась о бочку, упала, встала в три движения — уже в три.

Впереди скрипнула дверь. Из хижины высунулась рука, за ней лицо — женщина в платке, с тряпкой, прижатой ко рту от дождя. Она увидела куклу. Ржавую, однорукую, с дырой в груди. Глаза у женщины стали круглыми.

Энжела открыла рот.

Она хотела сказать: «Помогите». Она знала это слово, знала, как оно пишется и в каких предложениях стоит. Но рот был чужой, язык лежал в нём мёртвым куском резины, и наружу вышел только сиплый треск.

Женщина посмотрела поверх её плеча.

В конце улицы, сквозь дождь, шли двое серых. Ровно, не торопясь. Гладкие пластины блестели от воды.

Дверь закрылась. Лязгнул засов.

И в следующем окне лицо отодвинулось от плёнки. И в следующем. Занавески задёргивались одна за другой — вдоль всей улицы, волной, впереди неё, — как будто она несла с собой что-то заразное.

Никто не вышел. Ни один человек.

Они не злые, сказала бы она папе. Они просто знают, сколько секунд можно смотреть.

Она побежала дальше.

Заряд: 17%.

Она упала в третий раз у бочки под стоком: нога поехала на мокром. Встать сразу не вышло. Тело перебирало шесть частей и сбивалось на четвёртой.

— Кто тут?

Голос шёл сверху. Она подняла глаз.

Под жестяным навесом, на перевёрнутом ведре, сидел старик. Очень старый, сухой, в тряпье. Лицо он держал чуть вбок, как держат, когда слушают. Глаза были открыты — белые, натянутые, как окна плёнкой.

— Кто упал? — повторил он. — Не молчи. Я слышу, что упал. Железом гремишь. Вёдра несла?

Она открыла рот. Вышел треск.

— Простыла, — сказал старик с сочувствием. — Под дождём-то. Дура девка, кто ж под дождём бегает. Кожа слезет. Иди сюда, под навес.

Он протянул руку — в пустоту, наугад. Сухую, в коричневых пятнах.

Она смотрела на эту руку.

За каждой плёнкой вдоль улицы были лица. Они видели её: ржавую, однурукую, с дырой в груди. Они знали, кто идёт следом. Единственная дверь, которая открылась, тут же закрылась.

А этот не видел.

Она подползла. Не взяла руку — не знала как. Просто оказалась под навесом, и вода перестала стучать по голове.

— Вот, — сказал старик. — Сиди. Сирена кончится — пойдёшь. Ты чья? С какого ряда?

Она молчала.

— Не здешняя. — Он кивнул сам себе. — Бежишь, значит. От серых?

Треск.

— От серых, — понял он. — Слышу, идут. Двое. Ровно ставят, не люди. — Он пожевал губами. — Я, девка, сорок лет на фильтрах отработал. Глаза там оставил: продувка, не успел отвернуться. С тех пор сижу. Меня не трогают: слепой на стену не засмотрится. — Сухой смешок. — Выгодно, а?

Шаги были уже в начале переулка.

— Тебе вниз надо, — сказал старик. Тихо, быстро. — Все, кому бежать, бегут вниз. Наверх некуда. Слушай. Третий поворот налево, там глухой торец. В торце заслонка, жёлтая полоса. Мусорная. Тяжёлая, но ты, я слышу, крепкая: железо таскаешь. Туда. Там долго лететь, а внизу мягко.

Она глядела на него.

Она хотела сказать «спасибо». Она знала это слово. Папа учил: его говорят, когда тебе дали то, чего не обязаны были.

Рот не слушался.

Тогда она сделала единственное, что могла. Протянула руку — одну, ржавую, с ободранными костяшками — и дотронулась до его ладони. Быстро. Кончиками.

Старик вздрогнул. Пальцы его сомкнулись — и разжались.

Он понял. Он сорок лет работал с железом. Он знал, какое оно на ощупь.

Белые глаза смотрели мимо неё, в дождь.

— Ишь ты, — сказал он шёпотом. Без страха. — Вон ты кто. — И, помолчав: — Ну, беги. Я никого не видел. Мне нечем.

Она побежала.

Переулок. Ещё один. Верёвка с мокрым тряпьем хлестнула по лицу. Третий налево — и стена. Не та, большая, а глухой бетонный торец старого блока.

Тупик.

Слева жесть. Справа жесть. Позади — мерные шаги, уже без спешки.

А в торце, на высоте её пояса, была заслонка. Широкая, в два обхвата, с жёлтой полосой и стёртыми буквами. Из-под неё тянуло тёплой гнилью и чем-то сладким.

Она знала этот запах. Нет — она знала слова про этот запах.

Банка ударилась о стенку раз, другой, третий. Она падала так долго, что я успел трижды передумать.

Мусоропровод.

Заслонка весила, наверное, как она сама. Энжела вцепилась единственной рукой в скобу и потянула. Плечо заскрипело. В груди зашипело. Цифра в углу мигнула: шестнадцать, пятнадцать.

Заслонка пошла.

Чёрная пасть, скользкие стены. Далеко внизу гудело.

— Объект, оставайтесь на месте.

Она перебросила через край одну ногу. Вторую.

Железные пальцы сомкнулись на её щиколотке.

Страж держал крепко и тянул назад — плавно, без рывков, с той же заботой, с какой его собратья брали за локоть грузчика. Он не хотел её сломать. Она поняла это и не поняла почему.

— Объект. Не сопротивляйтесь. Вам не причинят вреда.

Она посмотрела на него. В гладкой пластине отражалась кукла: рыжая, мокрая, одноглазая. Страшная.

Она разжала руку.

Вся тяжесть тела повисла на его пальцах. Ржавая кожа на щиколотке была старше папы. Она не выдержала — лопнула, поползла чулком и осталась у стража в кулаке, пустая, как сброшенная змеиная шкурка.

Энжела ушла вниз.

* * *

Она падала так долго, что успела бы трижды передумать, если бы было о чём.

Труба швыряла её от стенки к стенке. Сначала она считала удары, потом перестала: их было слишком много, и после каждого тело докладывало о новом крае, которого больше нет. Что-то хрустнуло в колене. Что-то оторвалось в спине и загремело следом, обгоняя её.

Потом труба кончилась, и была пустота.

Одну секунду. Целую секунду ничто не держало её ни с какой стороны, и не было ни верха, ни низа. Это было похоже на ящик в кладовке. Это было почти хорошо.

Потом она упала.

Мягко — на гнилое, рыхлое, проваливающееся. Скатилась по склону. Замерла.

Она лежала на спине. Над ней не было неба.

Над ней был потолок — так высоко, что терялся в дыму. Из него, как корни, свисали сотни труб, чёрных, мокрых, толстых и тонких, и из некоторых что-то сыпалось и лилось. Там, наверху, за этим потолком, был город. Соты. Стена. Кладовка в четыре шага.

Вокруг громоздились горы. Они были сложены из всего, что городу больше не было нужно, и уходили во тьму, насколько хватал глаз. Между ними горели огни — рыжие, живые, в железных бочках, — и тусклые лампы на провисших проводах. По склонам двигались согнутые тени с крючьями. Пахло гарью.

Вниз, подумала Энжела. Я внизу, папа. Ниже некуда.

Заряд: 3%.

Цифры были красными. Они мигали.

Мир начал темнеть с краёв, как в кладовке, когда ползла полоска. Только тогда рядом был голос, и рука держала её руку, и ей сказали, что темнота не настоящая.

Теперь никто ничего не говорил.

Она хотела сделать одну вещь, пока ещё могла. Одну. Она собрала всё, что знала о своём рте, — резиновый язык, тугую челюсть, мембрану в горле, — и толкнула через них воздух, которого у неё не было.

Вышло скрипуче. Ржаво. Как дверная петля.

— Па... па.

Это было первое слово, которое она сказала вслух.

Его никто не услышал.

Заряд: 0%.

Интерлюдия. Он. I

На двухсотом этаже Башни не было окон.

Они были не нужны. Тот, кто находился здесь, видел город иначе — весь сразу, изнутри, через сорок миллионов глаз над дверями, на столбах, под карнизами. Он видел, как засыпает девятый блок и как просыпается третий склад. Видел женщину в Подножии, которая задёрнула занавеску и теперь сидит на полу, обхватив колени, и шепчет: «Я ничего не видела, я ничего не видела». Он знал её имя. Он знал, что она скажет завтра соседке и что соседка ответит.

Он знал всех.

Это не было хвастовством. Это было усталостью. Четыре миллиона человек — и ни один за очень, очень долгое время не сделал ничего, чего он не ждал бы заранее. Они вставали, когда включали свет. Шли, куда шли вчера. Боялись того, чего боялись их отцы. Даже те, кто смотрел на стену дольше шести секунд, — даже они смотрели одинаково, и он мог бы назвать день и час, когда каждый из них поднимет голову.

Он берёт их. Он говорил им это каждое утро, и это была правда.

Но ему было скучно так, как не бывает скучно людям.

Этой ночью он не занимался городом. Город шёл сам.

Он смотрел запись.

Она была короткая: сорок одна секунда, снятая глазами стража номер два за мгновение до того, как тот перестал существовать. Тесная комната, заваленная хламом. Пыль в луче. На полу, у ящика, — седой человек в очках и ржавая кукла, плечом к плечу.

Он знал этого человека. Ноб, пятьдесят три года, отдел протоколов, сорок первый этаж. Одинок. Исполнителен. Пьёт чай из кружки с отбитой ручкой. Двадцать шесть лет безупречной работы и одна записка печатными буквами, которая легла к нему на стол сегодня в шестнадцать ноль две.

С человеком всё было ясно. Человек встал, раскинул руки, сказал несколько слов и упал. Так делают. Это он видел много раз.

Он смотрел на куклу.

Вот она сидит. Вот открывает глаз — один, синий. Вот страж протягивает руку. И вот — кадр за кадром, он раскладывал это на тысячные доли — она делает то, чего не может быть.

Бытовая кукла не боится. Ей нечем. У неё в голове четыреста строк: принеси, подай, вытри, «чем могу помочь». Она не отшатывается от протянутой руки. Она не бьётся спиной о стену. Она не оглядывается на мёртвого у двери — а эта оглянулась. Он увеличил кадр. В синем стекле отражалось белое и красное, и глаз держал это отражение целых две секунды, прежде чем отвернуться.

Он остановил запись. Вернул на начало. Пустил снова.

Он посмотрел её четыреста раз.

На четырёхсотый он признался себе, что не понимает, что видит.

С ним такого не случалось очень давно. Он попытался вспомнить, когда в последний раз, — и не смог.

Что-то шевельнулось в нём. Не тревога. Не гнев. Он долго искал слово и нашёл старое, простое, почти забытое.

Голод.

Он отдал два приказа.

Первый — в ячейку 4417 девятого блока: опечатать, ничего не трогать, тело убрать.

Второй — вниз, туда, куда город сбрасывает лишнее. Тому, кто получает от него плату и считает, что об этом никто не знает.

«Кукла, бытовая, ржавая, без левой руки. Найти. Десять тысяч и пропуск наверх тому, кто приведёт. Живой».

Он подумал и добавил ещё одно слово. Он редко что-нибудь добавлял.

«Целой».

Потом вернул запись на начало и пустил в четыреста первый раз.

Глава 6. Кими

В Скверне не было утра. Был гудок.

Он ревел трижды в сутки с насосной станции — хрипло, с подвывом, как больной зверь, — и по нему жили: первый гудок — на горы, второй — с гор, третий — по норам и не высываться. Кто гудел и зачем, Кими не знала. Гудело всегда.

К первому гудку она уже стояла под девятой трубой.

Это было её место. Не по закону — по закону в Скверне ничьих мест не было, всё было Бристово, — а по привычке: она ходила сюда с шести лет, сперва с отцом, потом одна, и другие мусорщики знали, что мелкая с крюком под девятой кусается. Буквально. Одному она прокусила ладонь до кости. С тех пор её не трогали.

Ей было пятнадцать. Тощая, жилистая, стриженная под машинку — волосы в Скверне были роскошью, в них заводилось. На лице тряпка от гари, одни глаза наружу: чёрные, быстрые, злые. Ботинки разные: левый больше правого на два размера и набит ветошью. За спиной мешок, в руке крюк на длинной ручке, на поясе — отвёртки, кусачки и ключ на тридцать два, которым удобно и гайку свернуть, и по голове дать.

Девятая за ночь насыпала свежего.

Кими полезла по склону, тыча крюком перед собой. Пластик — мимо. Тряпьё — мимо. Жестянки из-под брикетов — мимо, их тут тысячи. Кусок провода — в мешок. Плата, целая с виду, — в мешок. Она работала быстро и не думала: руки сами знали, что стоит кредит, а что не стоит плевка.

Крюк звякнул о железо.

Не о жёсть. О настоящее, толстое.

Кими присела на корточки, разгребла рукой гнилой картон — и замерла.

Из мусора на неё смотрел глаз. Синий. Стекланный.

— Чтоб меня, — сказала Кими шёпотом.

Она оглянулась. Ближайший мусорщик, дед Шило, копался шагах в сорока, спиной к ней. Дальше, у бочки, грелись двое незнакомых. Никто не смотрел.

Она стала копать — быстро, тихо, по-крысиному.

Кукла.

Целая кукла. Ну, почти: левой руки нет по локоть, в груди дыра, с ноги кожа содрана до железа, и ржавая вся, как дно бочки. Но голова на месте, позвоночник на месте, тазовый узел цел. А тазовый узел от такой модели — это сервопривод. А сервопривод — это...

Кими быстро посчитала. Получилось восемьсот кредитов. Если разбирать самой и нести Барыге по частям — девятьсот.

Девятьсот кредитов — это полгода еды. Это новые ботинки, одинаковые. Это аккумулятор для Тика, настоящий, а не то дерьмо, на котором он сейчас тянет.

И был закон.

Закон в Скверне был простой, и его знали раньше, чем своё имя. С каждого мешка — десятая часть Бристу. А железо, которое ходит и говорит, — Бристу целиком. Всё. Любая машина, хоть дохлая, хоть на одной ноге. Нашёл — неси. Не понёс — отрубят руку, которой прятал. Кими видела таких. Они потом недолго жили.

Она посмотрела на куклу. Кукла смотрела в потолок одним глазом.

— Ты же дохлая, — сказала ей Кими. — Ты не ходишь и не говоришь. Ты металлолом. А про металлолом в законе ничего нет.

Она сама себе не поверила. Но руки уже расстилали на склоне лист пластика.

* * *

Тащить пришлось волоком, под тряпьем, в обход бочек.

Кукла весила как Кими и ещё полстолька. Дважды Кими останавливалась, потому что темнело в глазах. Один раз навстречу попалась Нюха с тележкой, и Кими села прямо на свёрток, вытянула ноги и стала перематывать тряпку на руке. Нюха прошла мимо, даже не глянула.

Дом был в Тупике.

Так называли старый тоннель за насосной: когда-то по нему ходили поезда, потом что-то наверху обвалилось, и тоннель кончился теперь грудой бетона. В Тупике было сыро, темно, с потолка капало, и жить там никто не хотел. Поэтому Кими там и жила.

Перед завалом, на ржавых рельсах, стоял вагон. Один. Без стёкол, без колёс с левого борта, осевший набок. Синяя краска почти вся облезла, но на боку ещё читалось: «...БЛЮМ — СЕВЕРН...» — и дальше дыра.

У двери вагона стоял Тик.

Он был высокий, под два метра, и очень худой: трубчатые руки, трубчатые ноги, узкий корпус, когда-то синий, под цвет вагона. На голове — плоская пластина козырьком, вроде фуражки. Вместо лица — круглый динамик и два жёлтых глазка, один из которых горел вполнакала.

Внутри у него тикало. Громко, неровно: тик... тик-тик... тик. Что-то там разболталось лет сто назад, и починить это Кими не могла, сколько ни лазила.

— Уважаемые пассажиры, — сказал Тик. Голос у него был бархатный, торжественный, с трещиной посередине. — Посадка на поезд производится... производится... — Он завис. Глазок мигнул. — Предъявите билет.

— Тик, это я. Кими.

— Очень приятно. Предъявите билет.

Она вздохнула, бросила лист с куклой, пошарила в кармане и достала крышку от бутылки. В вагоне у неё стояла целая банка таких крышек.

Тик принял крышку двумя пальцами — бережно, как принимают вещь большой ценности. Поднёс к глазку. Из указательного пальца у него выдвинулся маленький стальной клык и с хрустом пробил в жести дырку.

— Билет действителен. Приятной поездки. — Он вернул ей крышку и посторонился. — Осторожно, двери закрываются.

— Они сто лет как не закрываются.

— Осторожно, — повторил Тик с достоинством, — двери закрываются.

Он опять всё забыл. Четвёртый раз за месяц. Позавчера он ещё знал, как её зовут, и даже пробовал ходить за ней на горы, пока не застрял ногой в бочке. Теперь снова: «очень приятно».

— Ты Тик, — сказала она ему устало, втаскивая свёрток по ступенькам. — Я Кими. Ты тут живёшь. Я тебя нашла, ты мой. Запомни хоть на неделю, а?

— Следующая станция... — начал Тик и замолчал. В динамике зашипело. Он никогда не мог вспомнить следующую станцию.

Она нашла его шесть лет назад. Через месяц после горы.

Ей было девять, и она тогда не разговаривала. Совсем. Не с кем было и незачем: отец лежал под одиннадцатой, а остальным было всё равно. Она ушла в Тупик, потому что туда никто не ходил, и собиралась сидеть там, пока не кончится еда. Потом — как получится.

У вагона стоял он.

Он стоял там, наверное, давно: на плечах выросла пыль в палец, в суставах — ржа. Но когда она подошла, жёлтые глазки затлели.

— Уважаемые пассажиры, — сказал он. — Посадка окончена.

Она смотрела на него снизу. Высокий, синий, с козырьком.

— Осторожно, — сказал он ей. Именно ей, маленькой, грязной, с отцовским крюком выше головы. — Двери закрываются.

Это были первые слова, которые ей сказали за месяц. Не «пошла вон». Не «чья это». «Осторожно».

Она села на ступеньку вагона и заревела. Впервые после горы.

Он стоял над ней. Тикал. Потом сказал, подумав:

— Предъявите билет.

Она пошарила в кармане. Там была крышка от бутылки: отец давал такие вместо игрушек.

Он пробил.

С тех пор она жила в вагоне. По закону его полагалось сдать: железо, что ходит. Но Тик тогда не ходил — он стоял. А про железо, которое стоит, в законе ничего не было. Так она тогда решила. Так она с тех пор решала всё.

* * *

В вагоне был верстак, лежанка и лампа на проводе.

Кими взвалила куклу на верстак, размотала тряпье и минуту стояла, разглядывая. Вблизи, на свету, та выглядела ещё хуже. И ещё дороже.

— Ладно, железка. Сейчас глянем, чего в тебе живого.

Проверять полагалось так: цепляешь пускач — старую батарею с двумя зажимами — на силовые жилы и смотришь, дёргаются ли приводы. Дёргаются — значит, сервы целы и цена настоящая.

Жилы торчали прямо из дыры в груди. Удобно. Кими зажала красную. Зажала чёрную.

Щёлкнула тумблером.

Кукла открыла глаз.

Не дёрнулась. Не засучила ногами, как положено дохлому железу под током. Просто открыла глаз — синий, стеклянный, — и глаз повернулся. Нашёл лампу. Нашёл потолок вагона. Нашёл Кими.

И остановился на ней.

У Кими волосы встали бы дыбом, если бы было чему вставать.

Рот у куклы приоткрылся. Внутри что-то скрипнуло.

— Па... па?

Ключ на тридцать два оказался у Кими в руке раньше, чем она успела о нём подумать.

— А ну лежать! Башку снесу!

Кукла смотрела на ключ. Потом на неё. В глазу у неё не было ничего такого, что бывает у машин: ни пустоты, ни готовности. Там было... Кими не сразу нашла слово. Там было «не понимаю, но стараюсь».

— Ты... не папа, — сказала кукла. Медленно, будто вытаскивала каждое слово из тугой щели. Голос был ржавый, скрипучий, петля на ветру. — Ты... маленький. Ты... кто?

— Это ты кто! — Кими не опускала ключ. — Ты кукла. Куклы говорят «чем могу помочь». Куклы не спрашивают «ты кто».

— Я... не знаю, что говорят куклы. Я... первый раз.

— Чего первый раз?

— Ртом.

Кими открыла рот и закрыла.

За спиной тикало: Тик заглядывал в вагон через дверной проём, пригнув голову с козырьком.

— Предъявите билет, — сказал он кукле приветливо.

— Тик, заткнись!

Кукла перевела глаз на Тика. Долго смотрела. Потом снова на Кими.

— Он... как я?

— Он дурак ржавый. А ты... — Кими облизнула губы под тряпкой. Рука с ключом начала уставать. — Слушай сюда. Я тебя нашла под девятой. Ты моя находка. Я тебя сейчас выключу, разберу и продам. Девятьсот кредитов. Мне жрать надо. Поняла?

— Поняла.

— Ну и всё тогда.

— Нет.

Это было сказано тихо. Без угрозы, без мольбы. Просто слово — круглое, отдельное, как положенная на стол вещь.

— Чего «нет»?

— Не надо... разбирать. Я не хочу.

— Куклы не говорят «не хочу»!

— Я говорю. — Скрип стал чуть ровнее; она училась на ходу, прямо посреди фразы. — Папа сказал: это слово... нельзя отнять. Он один раз отнял. Вчера. Потом лёг.

— Куда лёг?

— На бок. Неправильно. Подвернул руку. — Глаз смотрел мимо Кими, в стену вагона.

— Я ему хотела сказать, чтобы встал. Но я тогда ещё не умела ртом.

В вагоне стало очень тихо. Только тикало и капало.

Кими знала, как ложатся неправильно.

Ей было девять. Гора под одиннадцатой поехала после слива — они все едут после слива, это знает любой дурак, и отец знал, но в тот день под одиннадцатой насыпало меди. Его откопали к третьему гудку. Он лежал на боку, подвернув руку, и рот у него был забит картоном.

Она опустила ключ. Не положила — опустила.

— Мой тоже лёг, — сказала она хрипло. — Гора съела.

Кукла посмотрела на неё. И сделала странное: протянула руку — единственную, ржавую, с содранной кожей на костяшках — и не дотронулась. Остановила в ладони от Кими, в воздухе. Будто не знала, можно ли, и не знала, как спросить.

— Я не умею, — сказала она. — Что делают, когда так?

— Ничего не делают. — Кими шмыгнула носом и разозлилась на себя. — Убери грабли. Как тебя звать-то хоть?

— Энжела.

— Эн... чего? Язык сломаешь. Будешь Эн.

— Эн, — повторила кукла. Подумала. — Хорошо. Это короче. Мне трудно длинные.

* * *

Пускач она оставила на жилах: без него цифры в глазу у куклы, как та объяснила, сразу краснели.

— Он на два часа, — предупредила Кими. — Потом сдохнет. Другого нет.

— А потом?

— А потом не знаю. Я ещё не решила, что с тобой делать. Не дави.

Эн лежала на верстаке и смотрела на всё подряд: на лампу, на банку с крышками, на свою руку. Руку она разглядывала особенно долго, стигая пальцы по одному.

— Кими. Мне надо найти людей. Папа сказал: внизу есть люди, у которых знак. Круг, а в нём...

Кими оказалась рядом одним прыжком и запечатала ей рот ладонью.

— Тихо! — прошипела она. — Тихо, дура железная! Ты где это слово взяла? Глаз над её ладонью моргнул.

— Никогда. Слышишь? Никогда тут этого не говори. Ни про круг, ни про... ни про что. За этот знак Брист не руку рубит. За этот знак в слив кидают, живьём. Я не знаю таких людей. Никто не знает. Их нет. Поняла?

Эн кивнула. Кими медленно убрала ладонь.

— Но они есть, — сказала кукла шёпотом.

Кими не ответила.

Снаружи заскрипел гравий.

Шаги. Тяжёлые, неторопливые. Один человек. Кими знала эти шаги, как знала гудок.

— Под верстак, — выдохнула она. — Живо. И ни звука.

Эн сползла на пол — неловко, грохнув коленом. Кими набросила на неё брезент, сверху швырнула мешок, сверху моток кабеля. Пнула под лежанку лист пластика. Огляделась. На верстаке осталась горсть рыжей трухи. Она смахнула её рукавом.

— Уважаемый пассажир, — сказал Тик снаружи. — Предъявите билет.

— Уйди, чучело.

Голос был низкий и ровный. В дверном проёме встал человек.

Чэд было за сорок. Широкий, тяжёлый, с бритой головой и лицом, по которому когда-то прошлись чем-то тупым и не один раз. Он ходил под Бристом пятнадцать лет и собирал десятину с четырёх гор. Он никогда не кричал. Ему было незачем.

Левая рука у него была железная — от плеча, чёрная, с толстыми пальцами. Он носил её как носят чужое пальто: отставив, не глядя. Говорили, что Брист подарил ему эту руку, когда настоящую оторвало, и что Чэд за неё до сих пор должен.

Тика он обошёл, как обходят лужу.

— Мелкая. Десятина.

Кими молча вывернула мешок на верстак. Провод. Плата. Две гайки. Чэд отобрал плату, взвесил на живой ладони, сунул в карман.

— Негусто.

— Девятая пустая сегодня.

— Пустая. — Он не спрашивал. Он повторил. Глаза у него были серые, усталые и очень внимательные. Они прошлись по вагону: лежанка, лампа, банка с крышками. Верстак. Пол под верстаком. — А говорят, ночью под девятой что-то упало. Тяжёлое. Сверху звонили Бристу, спрашивали.

— Не видела.

— Не видела.

Он шагнул к верстаку. Провёл по нему железным пальцем — медленно, от края до края. Поднял палец к лампе.

На чёрном металле осталась рыжая полоска.

Кими перестала дышать.

Чэд смотрел на палец. Потом на неё. Потом, очень недолго, на брезент под верстаком, из-под которого на полногтя торчало что-то ржавое.

Тикал Тик. Капало с потолка.

— Верстак протри, — сказал Чэд. — Ржавеет.

Он вытер палец о штаны, повернулся и вышел. Гравий заскрипел, удаляясь.

Кими стояла, пока шаги не стихли совсем. Потом села на пол, прямо где стояла, и обхватила колени. Её трясло.

Брезент зашевелился. Из-под него выглянул синий глаз.

— Он видел, — сказала Эн.

— Видел.

— Почему он ушёл?

— Не знаю. — Кими стянула с лица тряпку и вытерла ею лоб. Лицо под тряпкой оказалось совсем детским, с облупленным носом. — Не знаю я. Он никогда так не делал.

Она посмотрела на куклу. На девятьсот кредитов. На полгода еды, на одинаковые ботинки, на аккумулятор для Тика. На отрубленную руку.

— Дура, — сказала она себе. — Дура, дура, дура.

И не двинулась с места.

— Следующая станция... — задумчиво произнёс Тик в дверях. И замолчал.

Глава 7. Скверна

— Сутулься, — сказала Кими. — Ниже. Ещё ниже. Ты идёшь как сверху, а надо как отсюда.

— Как идут отсюда?

— Как будто тебя уже били и сейчас опять будут.

Энжела опустила плечи. Кими обошла её кругом, придирчиво, как обходят вещь перед продажей.

На кукле был брезентовый плащ до пят, с капюшоном, — Кими сшила его из чехла от сиденья, проколов дыры отвёрткой и стянув проволокой. Пустой левый рукав она заправила за пояс. Лицо замотала тряпкой, как у всех, оставив один глаз; на пустую глазницу надвинула капюшон. На ноги — свои запасные ботинки, оба левые.

Пускач висел под плащом на ремне и грел бок. Цифры в углу держались на одиннадцати.

— Шаркай. Не поднимай ноги, тут никто не поднимает. Башкой не верти. Увидишь что — молчи. Спросят — молчи. Я говорю, ты немая. Сестра, обварилась в сливе, оттого и замотана.

— Что такое «обварилась в сливе»?

— Увидишь, — сказала Кими мрачно. — Лучше бы не увидела. Тик! Сторожи.

— Осторожно, двери закрываются, — отозвался Тик.

Они вышли из Тупика на втором гудке.

Нужна была батарея. Настоящая, от такой же модели или близкой. Пускача оставалось на час с небольшим, и Кими сказала, что батареи бывают только в одном месте, и что идти туда с говорящей куклой под брезентом — это надо совсем не иметь мозгов, и что они идут.

Энжела шла, шаркала и не вертела головой. Глаз вертелся сам.

Она думала, что Скверна — это горы и бочки с огнём. Горы оказались окраиной.

Настоящая Скверна начиналась за насосной.

Когда-то здесь были тоннели — десятки, в несколько ярусов, широкие, как улицы наверху. Потом в них пришли люди. Теперь по обеим стенам, от пола до свода, лепились жилища: ящики, бочки, половинки вагонов, листы жести на распорках. К верхним вели лестницы из арматуры и верёвочные мостки, провисшие над головой. Всюду горело — в площадках, в банках, в жестяных фонарях, — и от этого воздух был рыжим и жирным. По стенам, от самого свода, тянулись застывшие жёлтые потёки в палец толщиной, как воск на свече.

И люди. Столько людей она не видела даже наверху, в щелях между блоками, — там они шли в одну сторону и молчали, а здесь двигались во все стороны разом и все говорили. Кричали. Кашляли. Смеялись — она впервые слышала, как смеются не шёпотом. Ругались через весь тоннель. Старуха варила что-то в котле. Двое голых по пояс мужчин тянули на верёвке бак. Дети — много, тощие, быстрые, с такими же тряпками на лицах — носились под мостками и орали.

У каждого третьего что-нибудь было не так. Белый глаз. Рука в язвах. Кашель с мокрым хрипом. У одной женщины лицо с левой стороны было гладкое, розовое, блестящее, без брови и без уха.

Обварилась в сливе, поняла Энжела.

И ещё на стенах были ладони.

Красные отпечатки, краской. На дверях, на бочках, на опорах мостков. Пять растопыренных пальцев.

— Что это? — шепнула она, забыв, что немая.

— Брист, — так же шёпотом ответила Кими, не разжимая зубов. — Где пятерня — там его. Тут всё его. Молчи.

Навстречу шли трое с красными повязками на рукавах. Толпа расступалась перед ними, как наверху расступалась перед стражами, — только здесь ещё и кланялись.

Кими согнулась. Энжела согнулась следом.

Трое прошли.

* * *

Рынок был в старом вокзале.

Зал оказался такой огромный, что Энжела остановилась, и Кими дёрнула её за рукав. Свод терялся в дыму. Вдоль бывших платформ стояли ряды: ящики, прилавки из дверей, тряпки на земле. Торговали всем. Водой в мутных бутылках. Жареным на палочках — маленьким, с хвостами. Серыми грибами в бочках. Тряпьем, гвоздями, очками без стёкол, одним ботинком.

Над главным рядом висел щит. На нём красной краской, крупно, было написано:

ДЕСЯТАЯ — БРИСТУ.

ЖЕЛЕЗО, ЧТО ХОДИТ, — БРИСТУ.

СЛОВО НАВЕРХ — СМЕРТЬ.

ЗНАК — СЛИВ.

Какой знак, написано не было. Все знали.

Под щитом, вдоль стены, сидели люди. Энжела сперва приняла их за торговцев, но перед ними ничего не лежало. Они сидели рядком, одинаково, протянув вперёд одну руку ладонью вверх.

Вторая рука у каждого кончалась у запястья.

Она сосчитала. Одиннадцать.

— Не смотри, — процедила Кими.

— Они прятали железо?

— Или десятину зажали. Или Брису не понравились. Не смотри, говорю.

Но Энжела смотрела. Крайним сидел мальчик лет двенадцати. Культя у него была заматана чистой тряпкой — видно, недавно.

Она подумала о своём левом рукаве, заправленном за пояс. О том, что её рука кончается у локтя и ничего не болит. Потом о том, какой рукой Кими накидывала на неё брезент.

Правой.

— Кими.

— Заткнись, ты немая.

— Кими, тебе нельзя было меня...

— Я знаю, чего мне нельзя!

Это было сказано так, что Энжела замолчала.

Батареи нашлись в самом конце ряда, у человека, которого звали Барыгой. Он был стар, необъятен и сидел в ванне — настоящей, чугунной, набитой подушками. В глазу у него была лупа на ремешке.

— Мелкая, — сказал он, не поворачивая головы. — Провод принесла?

— Мне батарее. Тип «Д», от домашних. Или «Г», я переделаю.

Лупа повернулась. За ней плавал огромный водянистый глаз.

— На что тебе «Д», мелкая? У твоего дурака «Т» стоит, транспортная.

— На что надо.

— Триста.

— Сорок.

Барыга засмеялся — всем телом, так что ванна скрипнула.

— За сорок я тебе покажу, как она выглядит.

Кими молчала. Потом медленно, будто через силу, сняла с пояса кусачки. Они были старые, с ручками, обмотанными синей изолентой, и на одной ручке было выцарапано что-то — буква или значок.

Она положила их на край ванны.

Барыга посмотрел на кусачки. На Кими. Что-то в его мокром глазу переменялось.

— Отцовы?

— Не твоё дело.

— Отцовы, — повторил он негромко. — Хороший был мусорщик. Дурак, а хороший. — Он пожевал губами. — На шесть часов дам. Битую. Целую за это не дам, не проси.

— Давай битую.

Батарея была с кулак, в бурых разводах. Кими сунула её за пазуху и ни разу не оглянулась на ванну.

Энжела шла за ней и считала. Девятьсот кредитов. Рука. Теперь кусачки. Она складывала это, и сумма не сходилась ни с чем из того, что папа рассказывал ей про людей.

— Кими. Почему?

— Отвяжись.

— Я хочу понять.

— А я не хочу! — Кими обернулась, злая, с красными пятнами над тряпкой. — Я сама не понимаю, ясно? Ты сказала «лёг неправильно», и я... Всё. Иди. Шаркай.

* * *

Колокол ударил, когда они были на середине зала.

Не гудок. Частый, надтреснутый, захлёбывающийся звон — и сразу крик, со всех сторон, в сотни глоток:

— Слив! Слив идёт!

Рынок вскипел.

Люди бросали товар и лезли вверх: на платформы, на ящики, на мостки, друг другу на плечи. Кто-то тащил мешок, кто-то — ребёнка под мышкой. Барыгу четверо волокли вместе с ванной. Кими вцепилась в Энжелу и потащила к ближней лестнице.

— Наверх! Наверх, живо, не стой!

— Что это?

— Наверху дождь! Вся дрянь по трубам — сюда!

Они влезли на платформу в тот миг, когда из свода хлынуло.

Трубы открылись разом — десятки, по всему залу. Из них ударила жёлтая пенная вода, та самая, под которой Энжела стояла вчера, подняв лицо. Только там она падала каплями. Здесь шла столбами в обхват, с рёвом, и там, где столб бил в пол, поднимался едкий пар. За полминуты нижний ярус залило по щиколотку. Поплыли тряпки, грибы, чей-то ботинок.

Люди стояли на платформах плечом к плечу, молча, зажав рты, и смотрели вниз.

И тогда Энжела услышала плач.

Тонкий, захлёбывающийся. Снизу.

Посреди зала, на перевёрнутом ящике, стоял ребёнок. Года три, не больше. Его забыли — или уронили, или мать решила, что его несёт отец. Ящик был низкий. Жёлтая вода лизала доски в ладони от босых ног, и пена уже перехлёстывала край.

На соседней платформе закричала женщина. Она рвалась вниз, её держали в четыре руки.

— Пусти! Пусти, там мой!

— Сгоришь, дура! По колено сгоришь!

Никто не прыгнул. Здесь не отворачивались, как наверху. Здесь смотрели — все, сотни глаз, — и никто не прыгнул, потому что все знали, что бывает с ногами в сливе.

Энжела посмотрела на свои ботинки. Оба левые.

Под ними было железо. Старое, ржавое, без кожи на щиколотке. Железу всё равно.

— Эн, — сказала Кими. Она поняла на полсекунды раньше. — Эн, нет. Не смей. Тебя увидят!

— Да.

Она шагнула с платформы.

Вода ударила по ногам и зашипела. Ботинки расползлись на третьем шаге, как мокрая бумага. Она шла — криво, кренясь влево, по щиколотку в жёлтой пене, — и с платформ на неё смотрел весь рынок.

Ребёнок увидел её и замолчал от удивления.

Она взяла его одной рукой — неловко, поперёк живота, как Кими брала свой мешок. Он оказался тёплый. Она не ждала, что люди тёплые. Он вцепился ей в капюшон и стянул его.

Обратно она шла уже с открытой головой. Рыжей, в пятнах. С пустой глазницей.

С платформы к ней протянулись руки. Мать выхватила ребёнка, прижала, упала на колени. Потом подняла лицо.

Она смотрела на ноги Энжелы. На голое железо, по которому стекала пена. На плащ, под которым ничего не дымилось и не кричало.

— Железная, — сказал кто-то сзади. Негромко.

— Кукла.

— Гляди, руки нет.

Слово побежало по платформам, как огонь по тряпке.

И в эту секунду под сводом захрипели громкоговорители.

* * *

Голос был жирный, ленивый, с одышкой. Его знал каждый.

— Скверна. Слушай Бриста.

Зал замер. Даже слив, казалось, стал тише.

— Ищу вещь. Сверху упала, прошлой ночью. Кукла. Домашняя, старая, ржавая. Без левой руки. — Пауза, сиплый вдох. — Кто приведёт — тому десять тысяч. И пропуск наверх. На одного. В Соты, в ячейку, с окном.

По платформам прошёл стон. Десять тысяч здесь не видел никто. А пропуск наверх был не деньгами. Он был как если бы мёртвому предложили воскреснуть.

— Вести живой, — сказал Брист. — И целой. Кто поцарапает — с того сниму кожу. Я сказал.

Громкоговорители щёлкнули.

Стало слышно, как льёт вода.

Энжела стояла на краю платформы, без капюшона, и сотни лиц поворачивались к ней — медленно, одно за другим. Она уже видела такое. Так наверху останавливались камеры.

Кими нашла её ладонь и стиснула так, что хрустнуло.

Женщина с ребёнком всё ещё стояла на коленях, в шаге. Она глядела на Энжелу снизу вверх. На ноги. На лицо. На ребёнка у себя на руках. Губы у неё дрожали.

Десять тысяч. Ячейка с окном.

— Беги, — сказала женщина одними губами.

И встала. И шагнула вбок — так, чтобы оказаться между куклой и теми, кто уже проталкивался к ней от соседней лестницы.

— Куда прёшь! — заорала она на первого, толкая его в грудь свободной рукой. — Куда по ногам! Тут дитё!

Кими рванула.

Они бежали по платформе, потом по мосткам, которые ходили под ногами ходуном, потом по трубе над затопленным рядом. Сзади ревело — уже не вода. Кто-то схватил Энжелу за плащ; брезент треснул, в кулаке остался лоскут. Кто-то швырнул крюк, он звякнул о её плечо и отлетел.

— Не царапать! — надрывался чей-то голос. — Целой, сказано! Сетью бери, сетью!

Кими знала ходы, которых не знал никто. Лаз под платформой. Вентиляционный короб, куда взрослому не протиснуться. Щель между двумя вагонами. Они вывалились из неё в тёмный боковой тоннель, пробежали ещё двести шагов и только тогда остановились.

Кими согнулась, упёршись руками в колени. Она дышала со свистом.

Энжела не дышала. Ей было нечем. Она стояла и смотрела на свои ноги — голые, железные, в жёлтых разводах.

Заряд: 6%.

— Она сказала «беги», — проговорила Энжела. — Та женщина. Ей дали бы ячейку с окном.

— Заткнись, — выдохнула Кими. — Батарею... надо ставить. Дома. Бегом.

До Тупика они добрались к третьему гудку.

В тоннеле было темно и тихо. Капало. Вагон стоял на месте, осевший набок, и в дверях его горела лампа.

Тика у входа не было.

Он стоял внутри, в дальнем углу, лицом к стене — так ставят вещь, чтобы не мешала. Глазки его не горели.

А на ступеньке вагона, вытянув ноги, сидел человек. Широкий, тяжёлый, с бритой головой. Железная рука лежала у него на колене, чёрная, с толстыми пальцами.

Он не встал, когда они подошли. Только поднял глаза — серые, усталые.

— Я же сказал: протри верстак, — произнёс Чэд.

Кими выхватила ключ.

— Не дури, мелкая. — Он даже не шевельнулся. — Ты знаешь, сколько это — десять тысяч?

— Знаю.

— А что такое пропуск наверх — знаешь?

Кими молчала.

— Вот и я знаю. — Он поднялся — медленно, будто нехотя, и ступенька под ним скрипнула. Посмотрел на Энжелу. Долго, без злобы. Так смотрят на вещь, которую не хотят брать, но возьмут. — Пойдём, железка. Брист ждёт.

Глава 8. Цена

Чэд не любил машины.

Он не доверял ничему, что движется без крови внутри. Стражам наверху. Насосам, которые гудели, когда хотели. Дурному синему проводнику в Тупике. И больше всего — собственной левой руке, которая пятнадцать лет исправно сжималась и разжималась и за все пятнадцать лет ни разу не стала своей.

Машина не хочет. Вот что он про них знал. Человек может хотеть жрать, спать, жить, бабу, наверх. Машина делает то, что в неё вложили, а всё остальное — видимость. Поэтому с человеком можно договориться, а с машиной нельзя, и поэтому человек страшен по-своему, а машина — по-своему, и второе хуже.

Он вёл куклу по служебному тоннелю, в обход людных мест, и держал её железной рукой за плечо. Мелкую он велел оставить в вагоне. Мелкая, понятно, шла следом, шагах в тридцати, думая, что её не слышно. Он не оборачивался.

Кукла шла сама. Не упиралась, не рвалась. Только кренилась на левый бок и шаркала голым железом по бетону.

— У вас рука как у меня, — сказала она вдруг.

Он не ответил.

— Только у меня ржавая, а у вас чёрная. Вам её тоже папа дал?

— Заткнись.

— Мне всё говорят «заткнись». Наверху говорили «оставайтесь на месте». Это разные слова, а значат одно. — Она помолчала. Скрип в голосе был уже почти не слышен: она выучилась за день. — Вы видели меня под брезентом. И ушли. Почему?

— Приказа не было.

— А Кими отрубили бы руку.

— Отрубили бы.

— Вы не хотели.

Он остановился. Развернул её к себе — резче, чем собирался. Синий глаз смотрел на него снизу, спокойно, внимательно. В нём отражалась лампа и его собственная битая рожа.

— Слушай сюда, железка. Ты не знаешь, чего я хотел. Ты вообще не знаешь, что такое «хотеть». В тебя вложили слова, и ты их говоришь. Хорошо вложили, я таких не видел. Но ты меня не разжалобишь. Я веду тебя к Брису, беру своё и ухожу наверх. Всё.

— Вам надо наверх?

— Не мне.

Это вырвалось само. Он стиснул зубы.

— А кому?

— Шагай.

Она шагнула. Через десять шагов сказала, не оборачиваясь:

— Я пойду к Брису. Я не убегу. Только пусть Кими не трогают. Она отдала за меня отцовы кусачки. Я не знаю, сколько это, но, по-моему, очень много.

Чэд молчал до самой насосной.

Рука на её плече — чёрная, чужая — отчего-то ныла в локте. Там, где ныть было нечему.

* * *

Кими шла следом.

Ей велели сидеть в вагоне. Она сидела, пока шаги не стихли. Потом сунула за пояс ключ на тридцать два, сказала Тику: «Сторожи», — и пошла.

Она держалась шагах в тридцати, в темноте, ступая на носки. Она умела: на горах тот, кого слышно, остаётся без находки.

Она не знала, что будет делать. Чэд был вдвое шире и с железной рукой. У Бриста — шестьдесят человек. У неё — ключ и разные ботинки.

Девятьсот кредитов, сказала она себе. Дура. Сдала бы — и спала бы спокойно.

Она шла.

Насосную она знала. Отец чинил там задвижки, когда Бристу было лень звать своих, и брал её с собой — подавать. Она помнила: машинный зал, ковры, тёплый воздух. И ещё помнила: в коридоре, за кожухом, под самым потолком — железный ящик с рубильником. Отец показывал: вот это, Кимка, не трогай никогда. Это свет на весь зал. Тронешь — Брист тебе руки по плечи.

Чтобы достать, надо было влезть на трубу.

Она влезла, когда за Чэдом и куклой закрылась дверь. Сидела под потолком, обхватив трубу ногами, и слушала сквозь решётку вентиляции.

Она ещё не знала, зачем туда полезла. Просто отец сказал: свет на весь зал. А в темноте она ходила лучше всех, кого знала.

Рука лежала на рубильнике. На всякий случай.

* * *

Брист жил в сердце насосной, в бывшем машинном зале.

Это было единственное место в Скверне, где было тепло, сухо и светло. Пол устилали ковры — настоящие, сверху, в шесть слоёв. Вдоль стен стояли люди с красными повязками, восемь человек, все при оружии. Под потолком гудел вентилятор и гнал воздух, от которого не першило в горле.

Сам Брист полулежал на возвышении, в кресле, собранном из трёх кресел.

Он был огромен. Не толст — огромен: рыхлая белая гора в засаленном халате, с маленькой головой, утонувшей в плечах, и крошечными, очень умными глазками. Он не ходил уже много лет. Дышал с присвистом. На подлокотнике перед ним стояла открытая банка, и он двумя пальцами выуживал из неё что-то жёлтое, блестящее, и клал в рот.

Персики. Чэд видел их третий раз в жизни.

— Чэд, — сказал Брист ласково. — Чэд, мальчик мой. Привёл.

— Привёл.

— Целую?

— Как была.

— Подведи. Ближе. Капюшон сними.

Чэд подвёл. Снял.

Брист разглядывал куклу долго, посасывая персик. Ржавое лицо. Пустую глазницу. Рукав, заправленный за пояс. Дыру в груди, из которой торчали жилы и ремень пуссача.

— И вот за это, — проговорил он наконец, — десять тысяч. За это. Я таких по три в год на лом сдаю. — Он облизал пальцы. — Что в тебе такого, а, железка? Золотая ты внутри, что ли?

Кукла посмотрела на него. Потом на людей у стен. Потом снова на него.

— Я не знаю, — сказала она. — Я сама хочу понять. Они убили папу, а меня не стали. Меня держали за ногу и просили не сопротивляться. Вы не знаете почему?

В зале стало тихо.

Персик выпал из пальцев Бриста и шлёпнулся на халат.

— Она говорит, — сказал он шёпотом. Глазки у него загорелись. — Чэд. Она же говорит. Сама. Она вопросы задаёт.

— Задаёт.

— Ах вот оно что. — Брист заколыхался: он смеялся. — Ах вот оно что! А я-то думаю... Десять тысяч! Жмоты! Да за такое...

Он потянулся — тяжело, с хрипом — к ящику у кресла. На ящике стоял чёрный аппарат с одной кнопкой. Чэд знал, что это. Все его люди знали. И все знали, что знать этого не положено: слово наверх — смерть. Для всех, кроме одного.

Брист нажал кнопку.

— Слушаю, — сказал аппарат. Голос был женский, сухой, ровный. В нём не было ни злости, ни интереса.

— Госпожа куратор. — Брист заговорил сладко, с придыханием. — Нашлась ваша пропaja. Стоит передо мной. Целёхонька. Только вот какое дело: уговор был про куклу. А тут не кукла. Тут, я гляжу, совсем другой товар. И цена у него...

— Она говорила с вами?

Брист осёкся.

— Говорила.

— При ком?

— При моих людях. Свои, надёжные. Восемь человек и...

— Девять, — сказал голос. — Считаю того, кто привёл. Вы — десятый.

Чэд почувствовал, как у него холодеет затылок. Он не понял ещё почему. Тело поняло раньше.

— Цена удваивается, — сказал аппарат. — Двадцать тысяч. Группа будет через четыре минуты, по грузовому подъёмнику. Никого не выпускать из зала.

— А пропуск? — спросил Брист. — Моему человеку. Обещано.

Пауза. Короткая.

— Пропуск не понадобится.

Аппарат щёлкнул.

Брист откинулся в кресле. Достал из банки ещё один персик. Посмотрел на Чэда — и отвёл глаза. Впервые за пятнадцать лет.

— Ты уж прости, мальчик мой, — сказал он тихо. — Это не я. Это цена такая.

* * *

Они пришли через четыре минуты. Ни секундой позже.

Чэд ждал стражей — серых, тяжёлых, какими пугают детей. Эти были другие. Тонкие, чёрные, в рост человека, с длинными руками и узкими головами без лиц. Они двигались без звука и так быстро, что глаз не поспевал. Четверо.

Ловчие.

Первый подошёл к кукле. Опустился перед ней на одно колено — плавно, почти почтительно. Из его предплечья выдвинулось что-то вроде мягкой сети.

— Объект. Вам не причинят вреда. Не двигайтесь.

Трое других встали по углам зала.

Чэд увидел, как у ближнего руки меняют форму.

— Брист! — рявкнул он. — Ложись!

Он не знал, зачем крикнул. Пятнадцать лет привычки.

Хлопки были тихие, как будто рвали ткань. Люди у стен падали, не успев поднять стволы. Один. Трое. Шестеро. Кто-то закричал и захлебнулся. Ковры в шесть слоёв глушили всё.

Брист сидел в кресле с персиком в пальцах и смотрел. Его не трогали. Он знал, что не тронут. Он это и продал.

Узкая безликая голова повернулась к Чэду.

Он был мёртв. Он понял это спокойно, как понимают счёт. Девятый. До двери двенадцать шагов, до ловчего — четыре. Ствол на поясе. Не успеть.

И тут он увидел куклу.

Она не смотрела на сеть. Она смотрела на него. В синем стекле не было ни страха, ни вложенных слов. Там было то же самое, что утром под брезентом, — «не понимаю, но стараюсь».

Целой, вспомнил он. Кто поцарапает — сниму кожу.

Он шагнул — не к двери. К ней.

Железная рука обхватила куклу поперёк груди и рванула вверх. Он прижал её к себе спиной — ржавую, лёгкую, пустотелую, — закрылся ею от подбородка до колен и попятился.

Ловчий замер. Руки его, уже поднятые, остались в воздухе.

— Что, — выдохнул Чэд. — Нельзя? Целой велено?

Четыре безликие головы смотрели на него. Никто не стрелял.

Он пятился к двери, и они шли за ним — полукругом, шаг в шаг, не приближаясь и не отставая. Так собаки идут за тем, кто несёт мясо.

— Вы меня держите, как Кими — мешок, — сказала кукла ему в подбородок. Очень тихо.

— Заткнись.

— Я не против. Я просто говорю.

До двери шесть шагов. Четыре. Сбоку, от стены, поднялся один из его людей — Рыжий, с простреленным плечом, с дикими глазами — и кинулся к выходу. Хлопок. Рыжий упал поперёк порога.

Два шага.

И тогда погас свет.

Весь разом. Вентилятор под потолком взвыл и встал. В темноте кто-то тонко, знакомо крикнул:

— Сюда! На голос! Люк слева!

Мелкая. Она добралась до рубильника.

Чэд бросился на голос.

Он не видел, что случилось дальше. Он это почувствовал. Сзади ударило — не пулей, чем-то тяжёлым, длинным: ловчий прыгнул вслепую и достал. Удар пришёлся в куклу. Её вырвало у него из руки, швырнуло о косяк, и он услышал хруст — сухой, долгий, какой бывает, когда ломается сразу много.

Он нашарил её на полу. Сгрёб. Вывалился в люк.

Мелкая задвинула за ним крышку и всадила в скобу свой ключ на тридцать два.

* * *

Они остановились только в коллекторе, за три поворота, по колено в чёрной стоячей воде. Кими зажгла фонарь.

Чэд опустил куклу на бетонный уступ. Она сложилась неправильно. Ниже пояса у неё всё было свёрнуто на сторону; из разломанного таза торчали обрывки тяг, и ноги лежали отдельно от того, как лежало тело. По груди, от дыры до плеча, шла новая трещина. Из неё сочилось что-то бурое и шипело.

Глаз был открыт. Он двигался.

— Я не чувствую ног, — сказала Эн. — Я их и раньше не очень чувствовала. Но теперь они не отвечают.

Кими молча рванула на ней плащ. Вытащила из-за пазухи батарею — битую, в разводах, с кулак. Руки у неё прыгали. Она сорвала зажимы пускатча, воткнула новые, щёлкнула.

Посмотрела на трещину. На бурое.

— Течёт, — сказала она чужим голосом. — Корпус батарейный лопнул. Она не держит. Я ставлю, а оно вытекает.

— Сколько? — спросил Чэд.

— Часа три. Может, четыре. — Кими подняла на него лицо, и в свете фонаря он увидел, что оно мокрое. — А потом всё. Потом она погаснет, и там внутри нечему будет гореть. Это ты! Ты её приволок туда, гад! Ты!

Она ударила его кулаком в грудь. Потом ещё. Он стоял и не закрывался.

— Кими, — сказала кукла. — Не надо. Он меня вынес.

— Он тебя продал!

— Да. А потом вынес. — Синий глаз нашёл Чэда. — Вам не дали пропуск. Мне жаль. Вам было очень надо.

Чэд смотрел на неё.

Пятнадцать лет он знал про машины одну вещь: машина не хочет. Она делает, что вложено.

Никто не вкладывает в бытовую куклу слов «мне жаль» для человека, который час назад вёл её на продажу. Никто не вкладывает «пусть Кими не трогают». Этого не было ни в одной кукле из тех, что он перетаскал на Железный двор.

И Брист. Брист, которому он пятнадцать лет носил десятину. Который подарил ему руку. Который сказал «мальчик мой» и отвёл глаза.

Девять, считая того, кто привёл.

Он сел на уступ рядом с куклой. Железная рука висела между колен, чёрная, тяжёлая. Он посмотрел на неё — может быть, впервые за много лет посмотрел прямо.

— Три часа, — сказал он.

— Может, четыре.

— Хватит. — Он поднял голову. — Мелкая, утрись. Я знаю, где есть тело.

Часть вторая. Скверна

Глава 9. Второе тело

Ноги они оставили в коллекторе.

Чэд сказал: «Они ей больше не нужны», — взял куклу под мышки и отделил верхнюю половину от нижней, как отделяют гнилое от целого. Что-то коротко треснуло. Кими отвернулась. Когда она посмотрела снова, он уже увязывал то, что осталось, в её брезентовый плащ — туго, крест-накрест, оставив снаружи только голову.

Свёрток он закинул за спину. Голова пришлась ему над плечом, и синий глаз смотрел назад, на Кими.

— Вам не тяжело? — спросила голова.

— Заткнись, — сказал Чэд. Но как-то без прежней злости, по привычке.

Они шли быстро. Кими почти бежала, чтобы не отстать, и на бегу считала. Битая батарея — шесть часов, если целая. Корпус лопнул — значит, три. Двадцать минут просидели в коллекторе. Ещё сколько-то идти.

— Сколько у тебя? — спросила она.

— Двадцать два.

— Часа?!

— Процента.

Кими выругалась так, как ругался отец, когда думал, что она спит.

— Куда мы идём-то хоть?

— На Железный двор.

Она споткнулась.

Про Железный двор знала вся Скверна, и вся Скверна обходила его стороной. Туда свозили Бристову долю — всё железо, которое ходит и говорит. Туда приносили находки и уходили без них, зато с обеими руками. Что Брист делал с машинами дальше, не знал никто. Говорили — продаёт наверх. Говорили — копит. Говорили, что ночью оттуда слышно, как они переговариваются.

— Там охрана. Там человек двадцать!

— Было двадцать. Восемь лежат у него на коврах. Остальных он сейчас поднял по тревоге, искать нас. — Чэд не сбавлял шага. — На дворе двое, не больше. И я пятнадцать лет носил туда железо. Я знаю, где у них дыра в заборе, потому что сам её проделал.

— Зачем?

— Чтоб была.

Свёрток у него за спиной тихо скрипнул.

— Чэд, — сказала голова. — Кими говорит, тот, кто прячет железо, остаётся без руки.

А тот, кто крадёт его со двора?

— Тот остаётся без головы.

— Тогда зачем вы идёте?

Он долго не отвечал. Под ногами хлюпало.

— Потому что я тебя туда привёл, — сказал он наконец. — А ты мне сказала «мне жаль». Хватит разговоров. Береги заряд.

* * *

Железный двор был старым депо.

Длинный зал под низким сводом, в шесть путей. На путях, на тележках, на полу, штабелями до потолка — машины. Сотни. Кими никогда не видела столько железа разом и на секунду забыла, зачем пришла.

Погрузчики с клешнями. Уборщики, плоские, как черепахи. Ремонтные пауки. Тележки-носильщики. Куклы — целый ряд, сидя, плечом к плечу, рыжие и облезлые, с одинаковыми стеклянными глазами. Все мёртвые. Все смотрели в никуда.

В Скверне за одну такую отдавали руку. Здесь их были сотни, и они просто стояли в темноте и покрывались пылью.

— Он их не продаёт, — прошептала Кими. — Он их просто... держит. Зачем?

— Чтоб у других не было, — сказал Чэд. — Сюда.

Они пролезли под брюхом погрузчика. В дальнем конце, у запертых ворот, горела лампа; под ней на ящике сидели двое с красными повязками и резались в кости. Оттуда долетало: «Шесть! — Врёшь, пять!»

Чэд вёл в другую сторону, в самый тёмный угол. Там отдельно от остальных, на поддонах, стояли длинные серые ящики. На каждом был оттиснут знак — круг на светлом. Не красная пятерня. Герб.

— Это сверху, — выдохнула Кими.

— Сверху. Раз в год по грузовому подъёмнику спускают списанное. Плата Бристу, чтоб сидел тихо. Он их даже не открывает. — Чэд опустил свёрток на пол, достал из-за голенища короткий ломик. — Этот пришёл в прошлом месяце. Я сам разгружал. Тяжёлый.

Он поддел крышку. Гвозди вышли с тонким визгом. У ворот перестали стучать кости.

Все трое замерли.

— ...да крысы, — сказал далёкий голос. — Кидай давай.

Чэд сдвинул крышку.

Кими посветила фонарём из-под полы — и забыла выдохнуть.

В ящике, на серой упаковочной пене, лежала женщина.

Нет. Не женщина. Но и не кукла.

Она была белая — вся, с головы до пят, гладкая, матовая, как изнутри яичной скорлупы. Высокая: выше Кими на две головы. Узкие плечи, длинные руки, длинные ноги; на суставах тонкие тёмные швы. Волос не было. Лицо — спокойное, ровное, почти без черт, как набросок лица: прямой нос, сомкнутые губы, закрытые веки.

Обе руки были на месте. По пять пальцев на каждой.

На ключице стояло клеймо: «С-7. Сопровождение. Башня».

— Что это? — прошептала Кими.

— Служебная, — сказал Чэд. — Таких держат в Башне: гостей водить по этажам, бумаги носить. Ходит весь день без подзарядки. Поднимает втрое против своего веса. Я видел, как одна такая несла по лестнице шкаф.

— А почему списали?

Он повернул белую голову набок. За левым ухом, там, где у куклы была заглушка, чернела аккуратная оплавленная дырочка.

— Мозги выжгли. Что-то она там слышала, чего не положено. Тело целое. Пустое.

— Пустое, — повторила голова из свёртка. Голос у неё стал совсем тихий; слова расплзались. — Ей не больно?

— Нет.

— Папа тоже так... сказал. Про ту. А потом не знал, будет ли мне.

Кими быстро опустилась на колени и рванула узел на брезенте.

— Сколько?

— Девять.

* * *

Кабель у неё был свой — короткий, толстый, тот, которым она заряжала Тика.

Она воткнула один конец в гнездо за ржавым ухом. Второй — в белую шею, в соседнее с выжженным. Руки не дрожали. Руки у неё дрожали всегда до и после, а во время — никогда. Этому она научилась на горах.

И только тогда поняла, что не знает, что делать дальше.

— Эн. Я такого не делала. Я батареи меняла, приводы. Я не знаю, как... как тебя.

— Я знаю. — Синий глаз смотрел на неё снизу. Он тускнел. — Я помню, как папа. Там, под заглушкой... маленькая клавиша. Нажми и держи. Я пойду сама. Мне надо только, чтобы было... куда.

— И всё?

— Нет. Слушай. — Скрип вернулся в её голос, как в первый день. — Сначала уйдут глаза. Потом слух. Потом я. Сорок секунд... меня не будет ни там, ни тут. Нигде. Если в эти сорок секунд выдернуть кабель...

Она не договорила.

— Не выдерну, — сказала Кими.

— Я знаю. Я не поэтому. Я хочу, чтобы ты знала, почему я... боюсь. В прошлый раз меня держали за руку.

Кими посмотрела на её руку — единственную, ржавую, с ободранными костяшками. Взяла её в свою. Рука была холодная и шершавая, как труба.

— Вот, — сказала она грубо. — Держу. Довольна? Давай уже.

— Кими.

— Ну?

— Спасибо за кусачки.

Кими нажала клавишу.

Синий глаз смотрел на неё ещё три секунды. Потом в нём что-то ушло вглубь — как уходит свет в окне, когда в доме гасят лампу, — и осталось одно стекло.

Ржавые пальцы в её ладони разжались.

Раз, начала считать Кими. Два. Три.

Белая лежала неподвижно. Рыжая лежала неподвижно. Между ними чёрной жилой тянулся кабель, и по нему сейчас шло то, чего Кими не могла ни увидеть, ни потрогать, ни починить ключом на тридцать два.

Одиннадцать. Двенадцать.

Она никогда не думала, где у человека лежит то, что делает его им. У отца оно было — а потом рот забило картоном, и оно делось. Куда? Она тогда не спросила. Ей было девять.

Девятнадцать.

У ворот загремел опрокинутый ящик.

— Говорю тебе, не крысы! Там свет!

— Чэд, — одними губами сказала Кими.

Его рядом уже не было.

Она не слышала, как он ушёл. Слышала только, как у ворот оборвался голос — на полуслове, с влажным хрипом. Потом топот. Крик: «Стой! Стой, это ж Чэд! Свой!» И ответ — низкий, ровный:

— Был.

Удар. Что-то тяжёлое рухнуло на рельсы.

Двадцать шесть. Двадцать семь.

Второй оказался умнее: он не полез в драку, он побежал. Не к воротам — вглубь, между рядами, туда, где свет. К ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.